# Вариант Пинегина

# Сергей Снегов

1

Министр поднялся навстречу Пинегину, усадил его в кресло, стал расспрашивать, как здоровье, как долетел, не было ли вынужденных посадок на новой трассе, не мешают ли весенние бури; потом вздохнул.

— А мы, Иван Лукьяныч, доживаем последние деньки в столице! Жду назначения в совнархоз — из далеких... Ну, не знаю, не знаю, специализация в министерстве нашем узкая, а в совнархозах — все, от производства блюмингов до ведер. Поначалу придется трудновато...

Пинегин на первые вопросы отвечал охотно, потом стал досадовать. С кем, с кем, а уж с ним не следовало заводить вежливых речей и выспрашивать о пустяках. И тому, что министр, десяток лет руководивший обширной отраслью промышленности, боится возглавить периферийный совнархоз, Пинегин не верил: министр тянул время, подготавливая какой-то трудный разговор. Пинегин догадывался, о чем пойдет речь, и сердился на проволочку. Он сам рубил сплеча и требовал этого же от других, даже от своих начальников.

Вслух Пинегин сказал с грубоватой шутливостью:

— Лучше здоровье не станет, зачитай я тебе хоть всю больничную карточку. И весна в наших краях как весна — мороз за тридцать, дуют циклоны.

Министр усмехнулся. В его желтоватых — пивного оттенка — глазах появилась лукавство. Он понимал нетерпение Пинегина и знал, что тот догадывается, зачем его внезапно — без предварительного уведомления для подготовки материалов — вызвали: в Москву. Но дело и вправду было нешуточное — торопиться не следовало.

— Предприятие у тебя, Иван Лукьяныч, огромное, — сказал министр. — Самое крупное в стране по нашему разделу металлургии.

— Предприятие здоровенное, — согласился Пинегин. — На масштабы не обижаемся.

— Помню, во время войны случалось у вас что с печами, на другой день я в Москве знал.

— Война опиралась на наши заводы, как на бетонную колонну, — подтвердил Пинегин. Он решил разом оборвать хождение вокруг да около. — Давай ближе, Алексей Семеныч... Что у вас стряслось необыкновенное?

Министр стал серьезным и строгим.

— Верно, необыкновенное. Правительство приняло решение: будете расширяться вдвое. Нужно срочным образом — в общих чертах, конечно, — предложить Госплану конкретный вариант реконструкции.

Именно этого сообщения и ожидал Пинегин. В пути от Ленинска до Москвы он перебирал в уме возможные причины вызова и остановился на двух самых достоверных — или его, Пинегина, перебрасывают на другую работу, или встал наконец вопрос о расширении комбината. А так как снимать Пинегина с занимаемого им пятнадцать лет поста некуда и незачем, то спешка с вызовом может быть объяснена только одним — реконструкцией.

Таков был ход мыслей Пинегина, теперь все это подтверждалось. Но хоть Пинегин я был уверен, что речь пойдет о расширении комбината, и готовился к беседе об этом, на несколько секунд у него захватило дыхание. Столько лет он ждал этого часа, столько было передумано планов, испытано надежд, пережито тревог, и вот — свершилось, осуществляется дело его жизни! Пинегин вспомнил, как месяца два назад тут же, в Москве, он встречался с министром на сессии Верховного Совета, о многом толковали, я о важном и о мелочах, но о том, что расширением комбината займется правительство, и намекам тот не упомянул, хитрый мужик!

Пинегин стукнул ладонью по столу и повторял, качая головой:

— Здорово! Нет, точно, здорово! Ну и новость, скажу тебе, просто поразительно!

Министр хохотал, глядя на Пинегина. Все произошло, как было задумано, хоть, скажи он об этом заранее, никто бы не поверил. На все было легко поднять крутого Пинегина — на грубый отпор, на категорическое «нет», даже на быстрое согласие с тем, над чем другие, зная, что все равно придется согласиться, неделями качают головой. Но вызвать удивление, радость, шумный восторг Пинегина — нет, это было не просто! Министр с удовлетворением подумал, какой смех поднимется, когда он расскажет: «Старика ошеломило, слова путного не выговорил, только крякал!»

Пинегин все не мог успокоиться, в такое возбуждение его ввергло известие. Утвержден хозяйственный план, он в действии, и такая крутая ломка программы — иначе не расценить, — эдакий здоровенный комплекс заводов расширить вдвое!

Министр рассмеялся:

— Только ли здесь ломаем! Новые возможности выяснились, вносим коррективы. — Он снова стал серьезным. — Так вот, Иван Лукьяныч, пришло время по-настоящему подумать, как будем справляться с нехваткой у вас коксующихся углей.

Пинегин отозвался:

— По-моему, никакого вопроса нету, Алексей Семеныч. Три года мудрили и спорили. Лучшего не придумаем, поверь! Нужно осуществлять разработанное, а не пускаться в дебри новых поисков, вот как я это понимаю.

Министр задумался, постукивая пальцами по столу. Пинегин следил за ним, готовясь спорить и доказывать. Но министр сказал:

— Значит, предложим «Вариант Пинегина»? Вам на месте, конечно, виднее, с этим приходится считаться. Ну, и о тебе знают, что ты не ищешь легких заданий.

Пинегин сказал ворчливо:

— Спасибо, что знаете хоть это во мне хорошее. А то, бывает, придешь к вам, чего о себе не наслышишься: и груб, и нетерпелив, и с интересами других предприятий не считаюсь, только о себе... Хозяйчиком крупного масштаба изображают — сам начинаешь верить, что такой.

— На ангела ты все же не похож, — возразил министр. — Крылышками не размахиваешь, скорее уж кулаками... Я, между прочим, так и знал, что ты свой вариант предложишь. Но не об этом сейчас пойдет у нас речь.

— Догадываюсь, что не об этом, — Пинегин усмехнулся. — И могу сказать, о чем. Сроки, конечно? У нас ведь с тобой как? Сперва ничего да ничего, а потом пожар, гони, немедленно! Так что вы намечаете в первой прикидке? Лет шесть на все строительство, так, что ли?

Министр покачал головою. Пинегин удивился:

— Не шесть, говоришь? По-моему, жестче трудно!.. Я рассчитываю: первую очередь строили восемнадцать дет, ну, времена не те, шагнули вперед основательно, шесть лет — в самый раз.

— В том-то и штука, что не шесть. Мы в Госплане, вроде как ты сейчас, предполагали на такое крупное дело отвести пятилетку. Нам предложили другую программу: три года на все строительство!

Пинегин только теперь понял, почему министр вначале держал себя так странно: долго не начинал беседы по существу, отвечал уклончиво, — все упиралось в сроки строительства. Министр не сомневался, что реконструкцию Пинегин примет с восторгом, но с такими жесткими сроками без нажима не согласится. Вот он и подготавливал почву. Пинегин с уважением покрутил головой. Умен, умен, соображает, как с кем держаться, недаром ему недавно бросили на совещании в ЦК: «Непонятно, почему Алексей Семеныч в промышленности командует, ему бы по иностранным делам — в ведущие дипломаты». Пинегин рассмеялся, вспомнив эту язвительную реплику, — министр посмотрел на него с недоумением.

— Ответственная задача, — сказал Пинегин в раздумье.

— Ответственная, — отозвался министр. — Нельзя нам дальше без солидного увеличения продукции твоего комбината. — Он добавил, откидываясь в кресле: — Ты понимаешь, Иван Лукьяныч, не вам одним понадобится показывать, на что способны: вся страна будет вас строить!

— «Вся страна»! — хмуро возразил Пинегин. — А разве и раньше не вся страна нас строила? На других надейся, а сам засучивай рукава — вот мой жизненный принцип, ни разу пока не подводил.

— Принцип хороший, — согласился министр. Он видел, что внутренне Пинегин уже примирился с тем, что, начав осуществлять дорогой ему проект, он взвалит себе на плечи неслыханно тяжелую ношу. «Вскоре гордиться станет, что считают его достойным этого сложного задании, он ведь такой», — размышлял министр.

Они стали обсуждать, что нужно сделать в самое ближайшее время, потом условились о совместной поездке в Госплан.

У двери министр вспомнил еще об одном:

— Награждать тебя собираются, Иван Лукьяныч. Будем праздновать сорокалетие твоей трудовой деятельности.

Пинегин уже слышал, что его юбилей собираются отмечать высокой правительственной наградой. Он не принадлежал к тем, кто ищет в знаках отличия смысл жизни, но упоминание о предстоящем чествовании было приятно. Он пошутил:

— Что-то вас не награждают. А начальство — сидите выше, глядите дальше.

— Не кресло же мое начальственное награждать! — отшутился министр. — А так — за что? Живу в столице рядом с театрами и музеями, не в твоих диких горах, по улицам езжу в автомобиле, и хочется пройтись пешком — временя нет. А что у тебя кабинет пообширней и пообставленней моего столичного, — это только мы с тобою знаем.

Пинегин улавливал горечь в словах министра. Конечно, министр ему не завидовал, он, как и Пинегин, не слишком ценил внешность, — дело было глубже. Они познакомились тридцать лет назад, вместе кончали Промакадемию, на одном строительном объекте начинали хозяйственную деятельность: Пинегин — начальником строительства, более молодой по годам министр — главным инженером. Все знали, что он без охоты, скорее даже с опаской, шел на министерскую работу и на нынешнем своем высоком посту часто с сожалением вспоминал о прежней суматошливой и энергичной жизни производственника.

Пинегин проговорил дружески:

— А ты взамен совнархоза бери крупное предприятие, ну хотя бы наш комбинат. Я с удовольствием пойду к тебе в главные инженеры, как ты когда-то у меня... Ругаться, конечно, будем, да разве сейчас мы с тобой не ругаемся?

2

Обратная дорога в Ленинск выпала нелегкая: по всей трассе бушевал циклон, то один, то другой аэродром отказывался принимать самолеты. Пинегин ругался с диспетчерами, требовал, чтоб ему показывали текст запросов по радио, вставлял туда словечки: «Невзирая на погоду», «При малейшей возможности». Это противоречило правилам, по с ним не спорили, его все знали, разговаривали с ним улыбаясь, качали головой: ну и старик, энергии у него на двух молодых, еще останется! Но и его энергии не хватало, чтоб улучшить погоду, чуть ли не на каждом пункте приходилось терять то день, то ночь, а за Воркутой сидели сутки.

Зато в воздухе Пинегину было хорошо. Внизу простирался необъятный край, дикий, необжитой Север — сперва на сотни километров тайга, черная на белой земле, потом пятна и залысины лесотундры, границы двух миров, и, наконец, его, Пинегина, мир, великая тундра — снег, только снег, ничего, кроме снега. Смотреть было нечего, кругом все было однообразно бело, но Пинегин не отрывался от окна, снова и снова вглядывался в эту давно изученную панораму — вспоминал, рассчитывал и мечтал.

Если бы можно было связать в цепочку разрозненные мысли Пинегина — скорее даже образы, чем размышления, — то они составили бы яркую картину: историю развития гигантского промышленного предприятия, историю его, Пинегина, жизни за последние пятнадцать лет.

Пинегин появился в Ленинске в годы войны, в самый трудный период строительства комбината, когда один за другим срывались сроки ввода в эксплуатацию основных цехов. Фронт требовал продукции, из Москвы летела телеграмма за телеграммой, вслед телеграммам прилетел Пинегин с предписанием — ломать все препятствия, не считаться ни с чем, пустить заводы. Это было чрезвычайное поручение, Пинегина посылали на полгода, он и сам не ожидал, что задержится дольше. Вышло по-иному: заводы были пущены, но Пинегин остался в Заполярье.

Расцвет промышленного района на Крайнем Севере по-настоящему начался с приезда Пинегина. Дело было не в нем одном — десятки тысяч людей трудились рядом с Пинегиным на клочке дикой земли, им помогали другие области страны. Но в производительной силе коллектива, создавшего комбинат, энергия и воля Пинегина были очень весомым элементом — это знал о себе он сам, это знали о нем и другие.

Однако развитию возглавляемого Пинегиным промышленного района был положен обидный предел. Природа, фантастически одарив этот дальний уголок земли рудными и энергетическими богатствами, забыла снабдить его коксующимися углями. Единственное скудное месторождение, небольшой угольный пласт, разрабатывалось чуть ли не со всех сторон, но его не хватало. Печи металлургических заводов задыхались от недостатка кокса. И уже с первых месяцев своего житья на Севере Пинегин стал задумываться над этим нелепым несоответствием. Легкомысленная природа напутала, как она обычно и везде путала; им, людям, нужно было поправлять ее нерасчетливость.

Война еще грохотала у Берлина, все силы бросались на восстановление разрушенного, а Пинегин внес в правительство рапорт о радикальном расширении комбината. Непосредственное начальство — старый друг Алексей Семеныч — с досадой отмахивалось от несвоевременного проекта, но Пинегин упрямо бил в одну точку. Он перенес спор в высшие инстанции: его поддержали в ЦК, рапорт обсудили на министерской коллегии, постановили разработать проектное задание, провести изыскательские работы.

Тогда, сразу после заседания, министр сказал сердито:

— Доволен? А я тебе предсказываю: только через двадцать лет доберемся до этой проблемы. Пока лишь загрузим специалистов, которым и более срочных заданий хватает...

Пинегин внушительно возразил:

— Ладно, бабушка одна тоже гадала вроде тебя, только врала, старая. А если и через двадцать, что ж, перспективы свои надо знать.

Проектное задание разрабатывалось столичным институтом, в нем было два варианта, оба представили на выбор и утверждение. По одному — расширялись только рудники, комбинат превращался в крупнейший в мире рудник, а продукция его, руда, вывозилась на заводы центра. По другому варианту — сам институт склонялся к этому второму — строились и рудники и металлургические и коксовые заводы, но извне, из тех же центральных районов, завозился уголь для изготовления на месте кокса.

Пинегин, когда с ним стали согласовывать проектное задание, отверг и первый и второй варианты.

Незадолго до этого в ста километрах от Ленинска, на берегах речки Имарги, геологи комбината нашли месторождение коксующихся углей. Расстояние было не такое уж дальнее, но путь шел через полярные горы и тундровые болота, пересекал бурные речки — даже пешему каждый километр давался с трудом. Но Пинегин загорелся. Он послал в горы новые партии геологов, инженерную разведку, засадил своих проектировщиков за работу. И мало-помалу стала определяться идея: заложить на Имарге шахты и связать их с Ленинском узкоколейкой. Так был создан еще один проект реконструкции комбината с использованием имартинских углей — его и назвали потом «Вариант Пинегина». Это был коллективный труд, но основная мысль принадлежала ему, Пинегину, все это знали. В спорах на коллегии Пинегин отстоял свой вариант, но о претворении его в жизнь нельзя было и думать. Три тома расчетов и чертежей свалили на полку технического архива: пусть отстоится, пока придет время.

Об этом и думал Пинегин, сидя в кресле самолета: пришло время! Сам Алексей Семеныч — сколько он восставал против этого начинания! — вызвал и торопит: скорее, нельзя больше ждать! И не двадцать лет прошло, как он предрекал, всего десять, так оно удивительно обернулось! Нет, их подготовительная работа была не напрасной, теперь все это видят!

Пинегин, отрываясь от плексигласового стекла, хмурил брови, закрывал веки, откидывал голову — так лучше думалось. Со стороны казалось, *что* он угрюм и недоволен. Он был счастлив.

3

На аэродроме Пинегина встретил толстый, задыхающийся от нетерпеливого характера и начинающейся астмы Вертушин, руководитель комбинатской проектной конторы. Пинегин не вызывал его: он не терпел парадных встреч; другие, зная эту его черту, не решились явиться в аэропорт. Но Вертушин не посчитался с повадками Пинегина, он не сомневался, что директор летит с важными новостями, — дожидаться официального вызова в кабинет было свыше его сил.

И уже после первых обязательных приветствий Вертушин осведомился, понизив голос:

— Иван Лукьяныч, так зачем же вызывали?

Они шли от самолета к автомашине. Пинегин усмехнулся:

— Тревожишься?

— А как же! Да и один ли я — все гадают... Неужели реконструкция?

Он помог Пинегину влезть в машину, сам умостился сзади. Шофер Василий Степанович, уложив чемодан в багажник, покатил в город. Пинегин обернулся к Вер-тушину:

— Наступает и на твоей улице праздник, Леонид Федорович. Кому-кому, а тебе достанется. Можешь объявлять аврал.

На радостях Вертушин не сразу поверил.

— Нет, серьезно? Разработка проекта, Иван Лукьянович?

— Точно. И разрабатывать будем сами, без столичных «варягов».

— Великолепно! И надо так понимать, что утвердили наш вариант?

— Ну, официально еще не утвердили. Но утвердят, сомнений нет.

Вертушин от волнения заговорил так тихо, что Пинегин бросил ему через плечо:

— Ты что сипишь?.. Нездоров или голос экономишь?

— Нет, я так. Неужто же никаких возражений? Ты понимаешь, эксперты, министерство...

Пинегин насмешливо посмотрел на Вертушина.

— А тебя, собственно, кто больше беспокоит: эксперты или министерство?

— Да вообще... Считаться придется с экспертами, конечно, а министерство приказывает...

— Вот-вот! Эксперты доказывают, министерство приказывает, а министерству указывают. Беспокоиться тебе нечего: соответствующие указания откуда следует поступили. Наше с тобой теперь дело маленькое — выполнять!

Как Пинегин и ожидал, Вертушин больше не задавал вопросов. Поднимаясь в свой кабинет, Пинегин вспомнил:

— Я своих не предупредил о приезде. Нужно позвонить, а то и ужином не накормят. И Волынского поста вить в известность — пусть приезжает, на скорую руку посовещаемся.

Вертушин успокоил его:

— Все сделано, Иван Лукьянович. И на квартиру позвонили, и Игорь Васильевич знает — вероятно, уже приехал.

В кабинете Пинегина сидели несколько человек, все они встали при его появлении, шумно окружили... Тут был и угрюмый, раздражительный Сланцев, главный инженер комбината, и Волынский, секретарь горкома партии, улыбающийся и немногословный, и другие ответственные работники комбината и города. Все молча смотрели на Пинегина. А он, довольный тем, что его окружают помощники и друзья, и что сейчас он обрадует их своей радостью, и что это будет уже не его, а их общая радость, оглядывал их весело и проницательно и не торопился начинать. Сланцев нахмурился, Вертушин ерзал на стуле, Волынский улыбался насмешливо и еле заметно. Все понимали, что дело серьезное: обычно на совещаниях Пинегин держал себя по-другому.

— Ну что же, — заговорил Пинегин. — То самое, к чему мы с вами десять лет готовились, товарищи, наконец наступает — будем расширять комбинат.

Он сжато и энергично — иначе он не умел — передал содержание своих бесед с министром и обсуждений в Госплане. Когда он подошел к самому трудному — срокам строительства, в обширном кабинете стало тихо. Никто не предполагал, что на новую гигантскую работу отпустят так мало времени. Сланцев сосредоточенно постукивал пальцами по столу, даже Волынский насупился. Пинегин переводил взгляд в одного на другого.

Надо бы оспорить, — негромко оказал Сланцев. — Ведь ясно же: за три года не вытянем...

— Оспоришь! — возразил Пинегин. — Думаешь, они не знают, как нам придется? Обещают оказать любую помощь, которая понадобится.

И опять все размышляли, не задавая вопросов и не обмениваясь репликами. Пинегин тоже молчал, не требуя немедленного ответа. Ему были понятней слов и улыбка, и нахмуренные брови, и молчание, и постукивание пальцев — естественное опасение трудного задания, обычное волнение перед началом бега, когда знаешь, что хорошо подготовился, но еще не до конца в себя веришь. Сланцеву нужно время, он переваривает новость не вдруг, но затем уже не признает ни отступлений, ни дискуссий — будет крушить препятствия! Волынский любит посмеяться и поязвить, на лету схватывает каждую мысль, но его на окончательное решение подвигнуть не просто. И не потому, что робок, — от остроты ума: слишком много видит человек вариантов и возможностей, все старается учесть и взвесить, — гибок, всесторонен и осторожен. Ничего, потом сам пойдет всех подгонять, вызывать на бюро с докладами и отчетами, уже не раз это бывало, правда, не в таком крупном доле. А Вертушину, конечно, вначале солоно придется, огромный объем работ навалится ему па плечи — он привык, без аврала еще ни один проект не выпускали, будет штурмовать и тут. Получит официальный приказ, кинется исполнять, не считаясь ни с временем, ни с трудами. Остальные не хуже — никто не подведет!

Вертушин первый прервал затянувшееся молчание. Он сказал значительно:

— Сроки эти — министерское предписание или наверху решено?

Все дружно засмеялись. Сланцев тоже улыбнулся. Вопрос Вертушина был естествен, но всех рассмешило, что его задал Вертушин и что от него ожидали именно такого вопроса. Вертушина уважали за деловитость и знания, но и подшучивали над некоторыми его особенностями.

Пинегин ответил, продолжая улыбаться:

— Можешь и сам сообразить, Леонид Федорович. Если мы с тобою на месяц затушим наши печи, то в речах кое-каких зарубежных дипломатов появятся нахальные нотки. А если, наоборот, раза в два расширимся, то эти люди станут повежливее. Как видишь, дело не только в хозяйственных заданиях нашего министерства, а шире.

Вертушин понимающе кивал головой. Сланцев сумрачно сказал:

— Что рассуждать о нашем значении? И ребенку ясно. Надо приступать к исполнению — по-деловому...

— До завтра, — предложил Пинегин. — Соберемся в широкой аудитории и конкретно наметим, кому и что.

4

Особенность Вертушина, над которой его знакомые подшучивали, состояла в том, что он в каждом, самом даже простом деле отыскивал что-либо недоговоренное, секретное и обязательно очень важное. В нем удивительно совмещались напористость и энергия с осторожничаньем, почти трусостью и уж во всяком случае с почтением к любым, пусть не очень четко выраженным, но высказанным наверху мнениям. Получая распоряжения, он интересовался, нет ли за их ясной формулой иных, подразумеваемых, но обязательных дополнений. И, знакомя подчиненных с новым заданием, Вертушин намекал туманно и внушительно, что всего не высказывает, многое только подразумевается и самое существенное как раз в том, о чем распространяться не положено. А отсюда следовало: спорить не надо, иначе придется обсуждать и то, что не подлежит огласке, — идите и выполняйте! Было время, когда такой прием действовал безошибочно, возражения гасли, не успев вспыхнуть: неизвестное смущало, — черт его знает, может, и имеются эти важные, но не высказанные открыто мотивы. Но в последнее время Вертушин с возмущением открывал, что становится трудно работать с сослуживцами, их не удовлетворяли его намека — они требовали доказательств. Менялись времена, а ему казалось, что подкапываются под его личный авторитет.

Особенно плохо складывались взаимоотношения Вертушина с руководителем группы металлургов Шелепой. Шелепа, приехавший в Ленинск всего два года назад, в выражениях стеснялся мало, был упрям и умел вносить страсть в обсуждение даже таких «проблем», как конструкция дверных ручек или окраска пола. Этот человек не терпел секретничанья. До Вертушина доходило, что в своем кругу Шелепа иначе и не называет его, как «верховный хранитель тайн». А после какого-то заседания Шелепа орал на строителей, принесших чертеж на согласование:

— Что это у вас за помещение? Уборная? Никаких уборных! Пишите объект номер четыреста семнадцать — засекречивать так засекречивать!

Шелепа не сомневался, что его насмешки передадут Вертушину, и нарывался на вызов к начальнику. Но Вертушин злился и терпел: он знал, что в личной беседе несдержанный Шелепа может наговорить кое-что и похуже. Про себя он давно решил, что рано или поздно они поссорятся так, что Шелепе придется уходить. В одном Вертушин был твердо уверен: столкновение это не будет личным, если и разыграется у них настоящая ссора, то только по принципиальному поводу. Сам он старался сдерживаться: он ценил специальные познания и инженерное умение Шелепы.

На совещании в проектной конторе — именно чтобы не доводить расхождение мнений до ссоры — Вертушин недвусмысленно подчеркнул, что реконструкция решена в самых верхах и что там же принят как наилучший проект, названный «Вариантом Пинегина». От них требуют рабочего проектирования, чертежей для строителей и монтажников, одно это и следует обсуждать — график выдачи листов. Совещание прошло гладко, даже Шелепа не спорил. Всех тревожило, справятся ли они в короткий срок с таким объемом работ.

Но уже через несколько дней Вертушин с возмущением узнал, что у себя в группе Шелепа повел иные речи: предлагает какой-то свой вариант, грозит, что, если не согласятся с ним на месте, станет жаловаться в центр. Вертушин вызвал Шелепу.

— Да, с вариантом Пинегина я не согласен, — ответил Шелепа. — Почему на совещании не выступил против? Просто застало меня это дело врасплох, еще не успел продумать свой вариант.

Вертушин с иронией спросил:

— А за два дня, что прошли от совещания, вы успели придумать новый вариант, который вполне заменяет тот, над которым целый коллектив работал три года?

— Нет, не заменяет, — возразил Шелепа, — а превосходит.

Вертушин постарался сдержать раздражение.

— В чем же он состоит, этот ваш удивительный вариант?

— Да, удивительный! — с вызовом ответил Шелепа. — Я не спорю, для своего времени проект Пинегина был великолепен. Но с тех пор прошло десять лет, техника гигантски шагнула вперед — пятьдесят седьмой год!..

— У нас не урок политграмоты! Нельзя ли поконкретнее?

— Одну минуточку! Знаете, что я предлагаю! Вообще отказаться от кокса. Вторую очередь комбината базировать на автоматизированных электропечах. Построить новую электростанцию и запустить в гигантских масштабах электрометаллургию.

Вертушин изумился:

— Вы в своем уме, Олег Алексеевич? Прочтите проектное задание, там уже рассматривалась ваша мысль и была отвергнута как невыгодная. К сожалению, выпускаемые промышленностью электропечи заменить наши огромные шахтные агрегаты не могут.

— Да, конечно, не могут. Я и не предлагаю ориентироваться на освоенные стандартные образцы. Моя мысль такова: использовать современные научные достижения, пока еще не внедренные в промышленность. Вы меня понимаете? Разработать специально для нас крупные, высокоэкономичные, полностью автоматизированные электропечи.

— Фантазия! — презрительно бросил Вертушин. — Этих печей нет. Они лишь создаются в институтах. А нам нужно срочно строить вторую очередь комбината.

Шелепа внимательно посмотрел на Вертушина.

— Мне кажется, вы живете вчерашним днем, — сказал он.

Вертушин повысил голос:

— Чем я живу — это мое дело! Прошу конкретно: чего вы хотите от меня как руководителя проектной организации?

— Ставьте мое предложение на обсуждение в техсовете, — сказал Шелепа после некоторого молчания.

— Хорошо, на техсовете я поставлю. Меня интересует другое. Техсовет, разумеется, отвергнет ваши нелепые предложения. Можно ли считать, что после этого вы бросите болтовню и сядете за проект, которого от нас требуют?

Шелепа тоже разозлился.

— Я не болтаю, а разъясняю технические недостатки вашего проекта. Что бы ни постановил под вашу диктовку техсовет, я буду настаивать на своем...

Вертушин встал из-за стола. Он тяжело дышал.

— Не находите ли вы, — сказал он со злой вежливостью, — что в этих условиях нам будет трудно работать вместе?

Шелепа отозвался:

— Да, нахожу: будет нелегко!

5

Пинегин, собираясь в поездку, отменил свои ежедневные приемы. По взбудораженный, больше обычного задыхающийся Вертушин не посчитался с этим и вошел без разрешения.

— Если у тебя серьезное дело, — сказал Пинегин, — отложим дня на три. Еду на Имаргу.

— Дело серьезное, — ответил Вертушин. — Откладывать не будем. Мне нужно десять минут.

— Ладно, — согласился Пинегин. — Десять минут выделю. Садись на диван и отдышись.

Закончив свои дела, Пинегин повернулся к Вертушину:

— Ну, чего там стряслось? Крыша рухнула на головы проектантов?

— Хуже, Иван Лукьяныч. Вожжа кое-кому под хвост попала... Почище крыши...

— Не Шелепе ли? — догадался Пинегин. — Он что-то второй день записывается ко мне на прием, секретарь посылает его к Сланцеву, он не идет.

— И не пойдет, Иван Лукьяныч. Ему только тебя нужно. Ты послушай, какую он смуту развел в конторе!

Вертушин рассказал о неладах с Шелепой, о бурном заседании технического совета, о вызывающем поведении Шелепы на заседании. Обсуждение поначалу шло самое деловое, выступали все члены совета: ни один не высказался за предложение Шелепы, пришлось ему услышать много неприятного. Другой, встретив такой единодушный отпор, задумался бы, все ли у него правильно. А он обозвал членов совета ретроградами и пригрозил, что разоблачит их перед Пинегиным, а не послушает его Пинегин — найдет ходы, в высшие сферы...

— Это пустяк — его поведение, — говорил Вертушин, снова начиная задыхаться от волнения. — Мы не классные дамы, сюсюкать не обязательно. Да ведь он что? Вместо работы кляузы строчит. Я его вызывал вчера вечером — ну, разговор пошел на ультрафиолетовых басах... Больше терпеть я не могу.

Пинегин сказал задумчиво:

— Электропечи, значит... Была, была такая мысль. Только мы ее отвергли как мало для нас подходящую. Ты бы ему разъяснил это.

— Неужто же не разъяснял! Да ведь он, говорю тебе, весь упор делает на какие-то особые печи, которых никто пока и не думает выпускать.

Пинегин усмехнулся:

— На чужого дядю надеется, что тот ему готовенькое поднесет. Знаю эту породу, что любят свои трудности на плечи других взваливать, — неважные работники. Спихотехники! От меня чего хочешь?

— Не можем мы с ним в одном учреждении. Или я, или он.

— Ладно. Приму его после поездки. Побеседуем по душам.

Спускаясь с Вертушиным по лестнице, Пинегин сказал ворчливо:

— Десять минут просил, а сидел час. Все твои дрязги, с Шелепой вместе, не стоят часа.

6

Для поездки в тундру Пинегин выбрал вездеход: даже «ГАЗ-69» не мог бы пройти по весеннему снегу. На Имаргу отправляли снаряжение и продовольствие, ехал старичок завхоз геологической партии со своими рабочими, Пинегин пристроился к ним. Он сидел рядом со споим шофером Василием Степановичем, остальные разместились в кузове.

Первый десяток километров шел через город и пром-площадку, потом дорога поворачивала направо. У поворота Пинегин приказал:

— Здесь перекур. Надо размять ноги.

Он вышел из кабины, потопал валенками по оседавшему снегу и присел на камень. Ужо высокое майское солнце заливало землю, можно было распахнуть полушубок. Кое-где на скалах от снега поднимался пар, на дорого и между кустами он нестерпимо сверкал желтыми и синеватыми огоньками. Но Пинегин не глядел на снег, перед ним, в долине, сжатой тремя горами, открывалась панорама города, он не мог оторвать от нее взгляда.

К задумавшемуся Пинегину подошел Василий Степанович.

— Поехали, Иван Лукьяныч. Все же пятнадцать ниже нуля.

Дорога километров шесть плутала по склону горы, потом спустилась к болоту и тут пропала. Пинегин, приоткрыв дверцу, оглянулся — позади нависал крутой гребень, издалека казалось, будто два человека склонились над обрывом, место это так и звалось «Скала часовых». Пинегин всегда любовался этой диковинкой природы, еще недавно здесь проходила граница между крошечным обжитым клочком земли и дикой лесотундрой. Сейчас граница отодвинулась километра на три, путь шел через поселок у болота, дальше простирался нехоженый край.

Вездеход, сипло дыша, взбирался на холмы, катился вниз, качался на кочках, переползал через стволы, полускрытые снегом, вертелся у воронок и рытвин, словно обнюхивая их, то замедлял, то ускорял свой бег, то вовсе останавливался — Василий Степанович вылезал из кабины и пробовал снег ногой: проверял дорогу. Потом потянулось русло горной реки — отполированный зимними бурями лед синевато сверкал, сквозь его метровую толщу виднелась темная вода, проглядывали валуны на дне. Невысокие голые горы сдавливали речку, внизу, на их склонах, рос лесок, обычные в этих местах лиственница, березка, ива — рахитичные деревца, клонившиеся к земле, боявшиеся высоты и простора. Яркое солнце низвергалось на горы и лесок, зеленое сверкание диабазовых обнажений смешивалось с многоцветным сиянием снега, даже черные деревца тускло поблескивали. Пинегин, наслаждаясь игрой света, то закрывал, то открывал глаза, отдыхал и думал — все о том же. Мир был дик, убог и по-своему наряден, нищая, северная красота, немного ей отпущено сроку — апрель, май, дальше дожди, потом снова холода и пурги. И этот оштрафованный самой природой край скоро будет призван к новой жизни, иная, совершенная красота озарит его, рельсы железной дороги протянутся по тому самому месту, где они едут, на склонах гор появятся станции и полустанки, на земле, девять месяцев в году не знающей пения птиц, зазвучат громкоговорители. Человек отвоюет и омолодит и этот древний угол, выведет на волю хранящиеся в глухих недрах богатства, придется старушке полярной пустыне отступать дальше к берегам океана — до следующего натиска на нее! Да, вариант Пинегина становится делом; ему, Пинегину, уже начинало казаться, что главную цель его жизни завершат другие, самому не придется увидеть этого преображенного края, — нет, увидит, не только увидит, еще сам, засучив рукава, будет месить, как глину, все эти горы, долинки, речки и леса, придавая им новый облик!

На каком-то участки погода, как это часто бывает на севере, внезапно переменилась. С гор хлынули темные тучи, свирепо завыл ветер, все вокруг пропало в снеговом тумане. Снег проникал сквозь щели кабины, заваливал кузов, залеплял стекло — разыгралась настоящая «черная» пурга. Василий Степанович, встревоженный, обернулся к Пинегину:

— Что будем делать, Иван Лукьянович? Идти боюсь, можно и заплутать и черт знает в какую яму про валиться. И стоять нельзя: занесет!

Пинегин усмехнулся:

— Ползи потихоньку, не пропадем. Это горный ветер, через часок кончится.

Пурга оборвалась так же внезапно, как и ринулась с гор. Стало теплее, свежий снег укутал землю, в нем торжествовало и пело солнце. Василий Степанович остановил вездеход.

— Большой перекур, ребята, — сказал он пассажирам в кузове. — Собирайте костер — печь картошку.

Пинегин вместе со всеми ломал ветки от карликовых берёз и лиственниц, но потом забыл о костре.

Тут был водораздел двух горных речушек, с голого плато на все стороны открывались просторы — все та же дикая, угрюмая, неласковая природа, горы, ущелья, древние диабазы вершин, чахоточные лески по склонам. Пинегин дышал глубоко и свободно, румянец покрыл его щеки — он смотрел на старый, миллионами лет создававшийся мир, но видел иной, тот, что ему придется в ближайшие годы создавать взамен этого.

— Иван Лукьяныч, картошка поспела! — крикнул Василий Степанович.

Пинегин присел возле завхоза. Василий Степанович вытаскивал прямо из жара картофелины, перебрасывал их с ладони на ладонь и кидал на газету. Пинегин залюбовался его движениями. Все, что ни делал этот невысокий крепкий человек, было красиво особой красотой осмысленности: ни одного лишнего движения, ни одного лишнего звука. Давняя дружба связывала Пинегина с его шофером. В первый послевоенный год Василий Степанович, работая на торговой базе, попался на «левой операции», «заработал» срок и был отправлен на Север. Пинегин взял его к себе еще заключенным и с тех пор не расставался с ним. Освободившись, Василий Степанович осел в Заполярье, завел семью, жил скромно и тихо, ничто не напоминало в нем прежнего мастера «левых операций».

— Как дорога? — спросил Пинегин, сдирая с картофелины румяную корку и отправляя ее в рот.

Василий Степанович ответил коротко:

— Дорога по-здешнему нормальная — ни к чертовой матери!

— Не горюй, Василий Степанович, лет через пять здесь пройдет шоссе, уже не на вездеходе, на велосипеде можно будет кататься.

— А к чему в этом климате кататься? Двенадцать месяцев зима, остальное — лето.

— Ну, на тебя климат не очень действует.

Предложи перебраться на материк, наверняка откажешься.

Василий Степанович возразил рассудительно:

— Да ведь почему, Иван Лукьяныч? Не климат вовсе. Зарплата здорово повышенная — раз. Условия бытовые неплохие — два. Ну, и кругом люди, само собой, очень хорошие люди, ничего не скажу — три. Вот что держит, а не эта зима с ее пургами, медведь их задери!

В разговор вступил старик завхоз:

— Не для человека эта земля. Кто здоровый, тот десяток лет здесь проскрипит. А навечно жить — заживо помирать. Картошка, к примеру, или огурчик — и те не родятся. А уж о галке или воробье не говорю — им тут ни в какую... А чем мы хуже галки? Человеку положено в других краях...

Пинегину захотелось поспорить.

— Кем положено? Богом, что ли?

— Зачем богом? Насчет бога не говорю. А вот, так сказать, природой, где свойственнее человеку или, скажем, ближе по характеру, то есть иначе, умеренная земля, чтоб она не буйствовала... Если природа чересчур себя развернет, человеку и приткнуться негде, вот так я думаю.

— Нет, не так, — сказал Пинегин. — Не так, дорогие мои! Климат — штука относительная, и значение его для человека все время меняется.

И он подробно развил свою мысль. Доисторический предок их полностью зависел от природы. Голый, он обитал на деревьях тропических лесов, ему, конечно, только и можно было жить в жарких тропиках, вся остальная земля не подходила «по климату». Потом он научился напяливать на себя шкуры зверей, это раздвинуло область его обитания. Затем открытие огня — новый огромный скачок в неизведанные, суровые земли, теперь они стали вполне пригодны для жилья. И искусство возведения жилищ, умение создавать у себя дома тот маленький, особо ему нужный климат — разве это не превратило в райский уголок множество земель, прежде казавшихся неприветливыми? Представьте нашего голого предка в лесах Подмосковья — да ему покажется, что он в ледяном аду! Даже Крым будет ему страшнее, чем нам с вами Арктика: мы отгорожены от ее морозов, тьмы и пург каменными стенами, меховой одеждой, батареями центрального отопления, лампами дневного света. Климат на земле тот же, что и тысячи лет назад, но впечатление такое, будто он с каждым годом смягчается, ибо человек меньше от него зависит. Земля чем дальше, тем удобней становится для жилья — таков закон развития человечества. И мы, завоевывая одну дикую область за другой, только осуществляем этот замечательный закон. Особенно типичен он для нас, жителей социалистического общества, — никогда еще человек не продвигался так быстро в отдаленные уголки природы. Вам не нравится этот унылый край с его карликовыми деревьями и голыми скалами? Подождите, скоро здесь вознесутся каменные здания, в каждой квартире приемник, телевизор, ванна, рядом магазины, кино, библиотеки, под боком совхоз с теплицами, где круглый год свежие огурцы и лук, на улицах автобусы и такси — чем же будет грозен этот климат? Да, конечно, галке и тогда придется нелегко, а воробью тем паче. Но здоровые люди, живущие культурной жизнью, даже не заметят, что обходятся без воробьев и галок.

Василий Степанович не раз слыхал рассуждения Пинегина по разным — хозяйственным и политическим — делам. Но завхоз не подозревал, что простому разговору о том, где человеку лучше, можно придать такую широту. Сидя в кузове и отворачиваясь от ветра, завхоз восхищенно бормотал:

— Ну и подвел! Значит, к примеру, прадеду моему на Кавказе было холоднее, чем моему внуку на полюсе? Ничего не скажешь — философия!

В новой долинке, такой же унылой и неприветливой, как все в этих местах, открылся поселок: бараки, склады, мастерская. Это были постройки стационарной геологической партии, разведывавшей угольное месторождение речки Имарги — будущую угольную базу комбината.

7

Возвратившись из поездки на Имаргу, Пинегин приказал секретарю записать Шелепу на вечерний прием. Вечер Пинегин выбрал, чтоб не мешали посетители.

В назначенное время Шелепа сидел в приемной, дожидаясь вызова. Пинегин увидел его в открытую дверь и крикнул:

— Входи, входи, чего там!

Сразу начать разговор все же не удалось: в кабинете сидели Сланцев и работники аппарата со срочными делами. Закончив с ними, Пинегин обратился к Шелепе:

— Ну, рассказывай, что ты за революцию в металлургии замыслил?

Шелепа был красен и возбужден, голос его дрожал. Пинегин не удивился — кроме непосредственных помощников, общавшихся с ним каждый день, все посетители обычно волновались, это было важное событие — прием у начальника комбината, каждый понимал, что в результате, может быть, пятиминутной беседы произойдут события, меняющие строй жизни, — новые задания, новая работа, увольнение, повышение.

Шелепу Пинегин знал плохо. От Вертушина Пинегин слыхал, что работник Шелепа неплохой, но характера неуживчивого. Пинегин вглядывался в лицо Шелепы, лицо ему нравилось — открытое, смелое, упрямое, — обычно такие лица бывают у людей толковых и знающих себе цену.

— Я не подозревал, что слово «революция» может звучать осуждающе, — возразил Шелепа.

Пинегин засмеялся. Ему все больше нравился этот человек. И ответил он хорошо, только так и следовало отвечать.

— Смотря какая революция, в кавычках или без. Итак, что ты имеешь против нашего варианта? Ты ведь с этим ко мне пришел?

Шелепа, торопливо доставая из папки бумаги с расчетами, стал излагать свой проект. Он говорил о прогрессе современной промышленности, о том, что ей по плечу изготовление любых машин. Пора отказаться от варварской угольно-коксовой металлургии, не допускающей полной автоматизации агрегатов! Пора искать новых, прогрессивных методов переработки руд — вот чего он хочет. Надо написать в Госплан бумажку посолиднее, может, и в ЦК, пусть вынесут второе решение по реконструкции комбината, а там засесть за разработку нового проекта. Еще одно преимущество: основная работа падет на плечи центральных заводов, а им, в Заполярье, останется немного — монтировать привезенное высокопроизводительное оборудование на освоенном пятачке, не залезая дальше в тундру.

Пинегин добродушно покачивал головой, слушая Шелепу; тому показалось, что начальник комбината соглашается с его доводами. Потом Пинегин остановил Шелепу:

— Ладно, мысль твоя ясна. Теперь послушай меня. Фразы эти насчет прогресса и прочего — газ газетных передовиц; вот будешь писать новогоднюю статью в газету, там их рассыпь пощедрее.

— Вы отрицаете прогресс в технике? — изумился Шелепа.

— Не отрицаю, а не вижу в нем нового, — веско разъяснил Пинегин. — Что-то на моей жизни не было такого года, чтобы техника шла назад. Стало быть, можно без высоких оборотов — первое. Второе еще важнее, ибо существеннее. Ты утверждаешь, что это преимущество — взвалить трудности на чужого дядю, а себе оставить работешку полегче. Ну, а мне кажется: не преимущество, а недостаток. Трудности надо преодолевать, а не спихивать на соседа. Доказал бы, что всей стране станет легче, — иное дело. Но ведь этого нет, сам утверждаешь, что другим предприятиям придется трудно, облегчение будет только у нас. Пойти на это нельзя.

Шелепа пытался возразить, Пинегин опять прервал его:

— Я слушал тебя до конца, выслушай и ты. Самое важное у нас впереди.

Теперь он перешел к тому, о чем размышлял во время поездки на Имаргу. Он раскрывал душу «Варианта Пинегина», сокровенное в нем. Нет, дело не только в том, чтобы построить еще два-три завода, прибавить десяток кварталов в городе. Задача много шире. Они отвоевали для советского человека маленький уголок дикой природы, создали своеобразное предмостное укрепление па Крайнем Севере. Надо дальше потеснить природу, возродить к жизни обширные пространства этого неисчислимо богатого и невероятно трудного края. Заводы, которые сегодня построят, лет через пятьдесят будут, возможно, не нужны: устареют или выработают рудные запасы. Но край, освоенный ими, уже никогда не возвратится к первозданной дикости. Сейчас продвижение в Заполярье является побочным результатом освоения рудных богатств, а потомки наши, может быть, в этом продвижении увидят главный наш подвиг — приходится считаться и с ними, не так ли?

— Ну как, убедил я тебя? — спросил Пинегин. Он не сомневался, что против его логики не удастся выдвинуть возражений. Он вспомнил старое изречение: «Свет освещает и самого себя и тьму». Простым рассуждением он показал достоинства «Варианта Пинегина» и — одновременно — поверхностность доводов его критиков.

Шелепа сидел склонив голову, ничего не ответил. После нового вопроса Пинегина Шелепа сказал:

— Все это убедительно, конечно, Иван Лукьянович. Но металлургию в наших местах нужно строить все-таки по новой схеме.

— Тогда объяснись еще раз, — с неудовольствием проговорил Пинегин. — Возможно, я чего-нибудь не уловил.

Шелепа повторил старые аргументы, все то, что Пинегин уже слушал и опроверг. Пинегин сухо подвел итоги:

— Значит, так. Держаться любого мнения ты вправе — твое личное дело. Но, как штатный работник проектной конторы, обязан разрабатывать утвержденный вариант. Не хочу больше слушать о ваших неладах с Вертушиным. Все, товарищ Шелепа!

Шелепа встал, покраснев и раздраженно блестя глазами.

— Думаю, не только мое личное дело, Иван Лукьянович. Считаю своим долгом поставить вас в известность, что я написал докладную записку в Госплан и собираюсь ее отправлять.

Пинегин долго не сводил взгляда с разозленного лица Шелепы.

— Не о записке речь, отправляй куда хочешь. Повторяю, твое дело. Я спрашиваю, кончатся наконец споры, начнется ли дружная работа?

Шелепа пожал плечами:

— Работать я обязан, обязанности свои нарушать не собираюсь. Но и мнения свои буду отстаивать, не считаясь ни с чем.

Пинегин принимал решения быстро и уж не пересматривал их. Не раздумывал он и тут.

— Завтра подашь заявление. Увольняю тебя из комбината. Мотив подбери сам — ущемлять не буду: состояние здоровья или там детки на южные пляжи запросились.

Шелепа не поверил. Он побледнел, у него перехватило дыхание.

— Вот как? — спросил он. — Выгоняете за критику?

— Не за критику. Критикуй сколько влезет, никому не возбраняется. За то, что отказываешься наладить дружную работу. Знаю, во что теперь выльется твоя деятельность: кляузы, комиссии по расследованию, снова кляузы, — тут не до чертежей! Мне нужны работники, а не болтуны.

8

На другой день к Пинегину приехал расстроенный Волынский.

— Иван Лукьяныч, что же это такое? — сказал он с укором. — Ни за что ни про что увольняешь дельного инженера!

— Во-первых, не дельного, а бездельного, — возразил Пинегин. — А потом, почему ни за что ни про что? Именно за это самое — за безделье. И «про что» есть — чтоб проектные разработки пошли наконец по-настоящему. Или ты против проектирования?

— Я не против проектирования. Именно поэтому и отстаиваю Шелепу: он из лучших наших проектировщиков.

Пинегин насмешливо покосился на него.

— Это кто тебе сказал? Он сам, конечно? Умеет человек рекламировать себя! Вертушина послушать, совсем по-иному выходит.

— Вертушин, однако, его не увольняет, — не уступал Волынский. — Вертушин ссорился с Шелепой, но не требовал освобождения его от работы.

Волынский продолжал настаивать. Пинегин рассердился.

— Знаешь, Игорь Васильевич, — сказал он, — твоя должность, конечно, такая — обязан быть другом человеков и защищать их права. Но склоки в проектной конторе и ты не обязан защищать, а суть в этом, не желает он дружно работать. Только поэтому и приходится с ним расстаться.

— Работать он не отказывается, — заметил Волынский. — А если обосновывает достоинства своего варианта, не вижу еще в этом плохого, в споре выясняется истина.

— Никаких нет споров. И мы с ним не спорим.

— То есть как не спорите, Иван Лукьяныч?

— Так. Не спорим — и все! Ибо нет никакого его варианта, а есть один вариант, разработанный нами с тобой и утвержденный министерством. О чем тут спорить? Надо выполнять — и только! А выполнять искренне, с душой он не хочет — здесь корень зла, в сотый раз тебе повторяю.

Волынский минуту раздумывал. Пинегин, сдвинув седые брови, наблюдал за ним.

— Ладно, — скапал Волынский. — В конце концов, это твое право — увольнять и перемещать своих работников в зависимости от обстановки и в интересах дела. Важно, чтобы не было нарушения законов или личной неприязни.

— Рад, что разобрался. Прямого нарушения законов нет, косвенного — тоже. И личной неприязнью не пахнет. А дело выиграет, если мы этого Шелопута, или Шелепу, отстраним от дела. Об этом можешь не беспокоиться. Значит, кончим на этом?

— Не совсем, Иван Лукьяныч, — ответил Волынский. — Я когда ехал сюда, подозревал, что разубедить тебя не удастся.

— Удивительная проницательность! Ну, и что ты надумал в предвидении того, что я от своего решения не откажусь?

Волынский спокойно ответил:

— Собираюсь взять его в горком партии, в промышленный отдел. Там у меня нужен толковый инженер. Шелепа к тому же — член пленума, сам ты голосовал за него на конференции.

Пинегин уставился на Волынского, потом рассмеялся:

— Здорово придумано! Удар по черепу! Значит, теперь мне придется встречаться с ним по три раза в неделю, согласовывать мероприятия. А вдруг он не захочет срабатываться со мною, я ведь такой, подлаживаться не буду, как тогда? На бюро горкома вынесете наши несогласия? Цирк, ей-богу!

И, не давая Волынскому ответить, снова становясь серьезным, Пинегин сказал:

— Ладно, бери в горком, если нравится, — твоя епархия. В чужие дела не мешаюсь: своих забот хватает. Но представляю, сколько же он теперь будет строчить на меня рапортов и докладов. И подписывать придется тебе!

— Не соглашусь с чем, не подпишу, — ответил Волынский.

9

Волынский от Пинегина возвратился в горком. В приемной его поджидал Шелепа.

— Зайдите ко мне, Олег Алексеевич, — пригласил Волынский.

— Ну как? — с тревогой спросил Шелепа. — Уломали Пинегина?

Волынский невесело улыбнулся:

— Такого уломаешь! Упрямее быка. Слушать ничего не хочет — не буду с ним работать — и все!

Волынский с сочувствием смотрел на опустившего голову Шелепу.

— Не горюйте, Олег Алексеевич. В горкоме вам тоже будет неплохо.

Шелепа хмуро ответил:

— Я инженер. Мое призвание — схемы и расчеты, ватман и калька. А в горкоме не чертежи — люди. Этот материал расчету не поддается, линиями в туши его не представишь, схемой не изобразишь.

Волынский ласково возразил:

— Я, как вам известно, тоже металлург, и не проектант — хозяйственник. В свое время не меньше вашего страшился переходить на партийную работу, не мыслил существования без конверторов и шахтных печей, без кранов и шлаковых тележек. А теперь не только привык, привязался к своей работе. И насчет человека вы зря: в туши его не изобразишь — верно, но расчету он поддается, вернее, не расчету — предвидению.

Шелепа со вздохом сказал:

— Конечно, ничего другого не остается, раз Пинегин отказывается оставить меня на комбинатской работе. Но обидно убираться, когда разворачивается такая гигантская реконструкция.

Волынский предложил, садясь за стол:

— Поговорим о неотложных мероприятиях. Что вы намечаете для начала своей работы в горкоме?

— Да ведь мы вчера все с вами обсудили, — ответил удивленный Шелепа. — Именно это и надо начинать, раз Пинегин упорствует, — бороться против него. Написать на машиностроительные заводы, в проектные организации, в исследовательские институты — всех поднять на дыбы! И добиваться в ЦК и Госплане пересмотра решения.

Волынский сжал губы, подпер голову рукой. Шелепа тоже замолчал, ожидая ответа. Он не сомневался, что Волынский с ним согласится. Секретарь горкома после первых же объяснений полностью принял проект Шелепы, он не откажется от этого проекта, несмотря на сопротивление Пинегина. Просто надо все взвесить, рассчитать свои и Пинегина силы, прежде чем объявить открытую борьбу начальнику комбината. Но Волынский думал совсем о другом.

Он увидел себя юношей, приехавшим на курсовую практику на завод, затерянный среди лесов. Начальник завода принимает их, группку студентов, сам водит по цехам, объясняет и показывает. Но они смотрят не столько на агрегаты, сколько на этого человека. Он им знаком, не раз они видали его портреты в газетах, читали его речи на партийных съездах, говорили о нем на экзаменах, горячо обсуждали на занятиях его опыт, его достижения — вот он, живой, насмешливый, точный, он, Пинегин, тот самый — старый большевик, знаменитый хозяйственник, один из прославленных героев первых пятилеток. Это был удивительный день, первая встреча с Пинегиным, такие встречи остаются в памяти на всю жизнь — эта осталась... А потом, через несколько лет, вторая встреча, уже здесь, на Севере. Только что прилетевший молодой инженер Волынский представляется начальнику комбината, прилетевшему за два дня до него. На этот раз беседа коротка, всего две фразы. «Принимайте конверторное отделение, — говорит Пинегин. — Там до вас шляпа сидел, вы шляпой не будьте!» А затем каждый день то телефонный разговор, то вызов в управление, то беседа в цеху. Пинегин строго, и дружески контролирует молодого руководителя, направляет, поправляет его, то хвалит, то сердито выговаривает. Да, это была настоящая школа, трудный курс хозяйствования, в иной день узнавалось больше, чем за месяц институтских лекций. Кто был Пинегин тогда Волынскому? Начальник? Наставник? Администратор? Как мало говорят эти равнодушные слова сердцу, а ведь он, Пинегин, не только направлял ум, но и зажигал сердце! Такой он был, такой, — может, один отец, умерший в год поступления Волынского в институт, был дороже и ближе. Не он один ощущал на себе эту отеческую заботу Пинегина — всем тот был дорог, всему их большому коллективу. «Старик, — говорили о нем любовно. — Старик разбушевался — страх! Старик сегодня не в духе! Братцы, видали, старик в президиуме весь вечер посмеивался!»

— Вы не согласны, Игорь Васильевич? — спросил Шелепа.

Волынский не услышал вопроса. Новые мысли мчались в его мозгу. Он видел ласкового, так непривычно доброго Пинегина, вызвавшего своего питомца Волынского для личной беседы. «Вступай в партию!» — советует Пинегин. Как он, Волынский, волновался, у него даже голос прерывается, он твердит: «Боюсь, не подготовлен я, не гожусь!» А Пинегин обнимает его за плечи: «Я к тебе присматриваюсь уже второй год, только таких и нужно принимать в партию, верю в тебя: не опозоришь высокое звание!» И вот Волынский — член партии, а в личном деле поручительство Пинегина, старый руководитель выводит в полет своих орлят. Четырнадцать лет утекло с той поры, всего не вспомнишь, а еще одно надо вспомнить обязательно. На этот раз беседа не в кабинете, прямо в цеху. «Пора тебе бросать хозяйствование, — говорит Пинегин. — Все яснее вижу, что сила твоя не в технике, хоть и техника у тебя идет неплохо, а в понимании людей и в политическом кругозоре. Собираюсь на партконференции рекомендовать тебя в партийные работники». И опять Волынский отказывается, не верит в свои силы. Нет, знает Пинегин своих помощников, всех знает — лучше, чем они себя. И верят ему, общее мнение: кто-кто, а Пинегин не ошибется! И вот Волынский — секретарь горкома, сперва второй, потом первый. Нелегко ему пришлось, очень нелегко, временами охватывало уныние. Кто помогал ему в эти трудные минуты? Он, Пинегин. Помогал советом, помогал делом, ободрял, подталкивал, подшучивал, критиковал. Всегда, всегда, вспоминая Пинегина, Волынский ощущал одно и то же: признательность, уважение, восхищение. А сейчас ему предлагают подняться на старика, начать против него борьбу, может быть, добиваться снятия Пинегина, если докажут, что он неправ, а он упрется! И как он может не упираться, ведь собираются опорочить заветную его мечту, сколько сил и душевных способностей он вложил в этот план! Нет, люди не отказываются добровольно от дела всей жизни, не откажется и Пинегин. Волынский, ученик Пинегина, занесет руку на старого, любимого учителя — поймет ли тот его, простит ли?

— Так как же будем? — снова спросил Шелепа.

Волынский очнулся от раздумья.

— А вот так и будем, — сказал он хмуро. — Пишите запросы в исследовательские институты, в проектные организации и на заводы. Если ваши предложения окажутся технически осуществимыми, войдем со специальным докладом в ЦК.

10

Вертушин с энергией кинулся в проектирование. На место Шелепы назначили его помощника, пожилого, опытного инженера, дело быстро двигалось вперед. Каждую неделю Пинегин приезжал в проектную контору или вызывал Вертушина к себе. Начальника комбината интересовало, какой сектор отстает, кто в передовиках, какие схемы и расчеты полностью закончены, какие еще разрабатываются. Пинегин всегда так работал: вникая в детали, он знал о любом из своих участков, ставших на время ударными, не меньше, чем знали их начальники.

Во время очередного доклада Вертушина к Пинегину вошел Волынский.

— Чудесно, что ты явился, Игорь Васильевич! — обрадовался Пинегин. — Вместе послушаем, как идет проектирование.

Волынский сидел с таким равнодушным видом, что Вертушин почувствовал стеснение и докладывал без обычного жара, даже дышал не так шумно. Пинегина тоже удивило странное поведение секретаря горкома.

— Ладно, — сказал Пинегин. — Продвинулись за неделю солидно. Работайте дальше.

Когда Вертушин ушел, Пинегин обратился к Волынскому:

— Что это с тобой сегодня, Игорь Васильевич? Не узнаю, вроде и не интересует тебя проектантская братия.

Волынский усмехнулся:

— Интересует, да не очень.

Пинегин не сводил с него проницательных глаз.

— Это почему же «не очень»? Сейчас проектирование — передний край реконструкции комбината. Или тебя и реконструкция перестала интересовать?

— Смотря какая реконструкция. Тут еще не все для меня ясно.

Пинегин покачал головой:

— Все понятно. Шелепа рядом с тобой, наплел, конечно, о своем, а ты уши развесил. Не ожидал от тебя подобной легковесности.

Волынский снова усмехнулся:

— Почему же легковесность, Иван Лукьянович? Скорее объективность... Хочу всесторонне разобраться, кто прав, кто виноват.

— Ну и как же ты надумал разбираться? — холодно спросил Пинегин. — Сразу жалобу на меня настрочишь по наущению Шелопута или пошлешь его прожекты на предварительную экспертизу специалистов?

Волынский не собирался разговаривать сейчас на эту тему, он приехал в управление комбината по другому делу. Но разговор был неизбежен, рано или поздно он должен состояться, это Волынский понимал. Он решил высказаться начистоту.

— Ни то, ни другое, Иван Лукьянович, — ответил он. — Мы запросили исследовательские и проектные организации, а также заводы-изготовители, могут ли они разработать и поставить нам новые модели электропечей. Получим ответ, многое станет ясней.

— Так, так, — спокойно проговорил Пинегин. — Запросы, значит? Что же, запросы — вещь безобидная, от них ни жжет, ни колет. Но только это, знаешь, оболочка. Давай копнем на всю глубину?

— Давай, — согласился Волынский. — Я не против выяснения.

Пинегин заговорил медленно, обдумывая каждое слово:.

— Итак, посланы запросы. На запросы придут, конечно, ответы. Если ответы отрицательные, делать нечего, придется на шелопутных проектах ставить точку и идти ко мне извиняться. Это первый вариант. Правильно я излагаю?

— Не совсем. — Волынский засмеялся. — К чему же извиняться? Наши запросы ни для кого не оскорбительны. А правоту твою признаем, если, конечно, ответы будут отрицательными.

— Хорошо, пусть без извинений, — продолжал Пинегин. — На извинениях не настаиваю. Давай рассмотрим второй вариант — положительные ответы. Для порядка допустим и такую возможность, хоть я в нее не верю. Итак, вам сообщают: что-то принимается, что-то отвергается, в общем, требуемые новые печи могут быть изготовлены. Что вы тогда предпринимаете?

— Тогда мы идем к тебе, Иван Лукьяныч, — мягко сказал Волынский, — и убеждаем поехать с этими новыми данными в ЦК, добиться другого решения о реконструкции.

Пинегин одобрительно кивнул головой:

— Правильно. Так я и думал — попытаетесь уговорить меня. Но я, как ты знаешь, человек упрямый. Я ни в какую, у меня один ответ: наш вариант со всех сторон лучше — с экономической, с политической, с технической, с исторической, наконец, — нужно, мол, думать и о нуждах потомков. Как тогда поступите?

Улыбка, которую Волынский пытался удержать, погасла.

— Тогда, — ответил он, — мы будем писать в высшие инстанции независимо от тебя.

— И против меня, — уточнил Пинегин. — Против меня, Игорь Васильевич. Давайте уж поставим точки на свои места. Вы начнете борьбу против меня, жестокую борьбу — принципиальная борьба другой быть не может. Вы будете добиваться моего устранения от руководства, иначе ведь ваш вариант не пройдет, это вы хорошо понимаете. А я весь авторитет моих беспорочных трудовых сорока лет обрушу на вас. Вот как оно пойдет дело, дорогой Игорь Васильевич. Или я неверно рисую?

— Нет, в общем верно, — отозвался Волынский. — Борьба развернется очень нелегкая, это мы знаем.

— И выйдет, мы с тобой, полтора десятка лет дружно работавшие, — неумолимо продолжал Пинегин, — возненавидим один другого, иначе мы не сумеем, ведь у таких, как мы, дело наше — жизнь наша. Незаполнимая трещина расколет наши такие прежде тесные отношения. Не правда ли, отличное завершение многолетней дружбы?

Волынский ответил жестко:

— Знаешь, Иван Лукьяныч, уже две тысячи лет говорят: Платон — мне друг, но истина дороже...

Пинегин махнул рукой:

— Ладно. Все ясно. Прости, Игорь Васильевич, срочные дела... Если ты о том, что вчера обсуждали на бюро, так прошу к Сланцеву.

11

Он знал, что Волынский пробудет минут двадцать в управлении, они могли со Сланцевым без предупреждения зайти — нужно было не показать им, как его расстроил неожиданный разговор. Пинегин вызывал посетителей, громко с ними разговаривал, сердился, спорил — это отвлекало. Прием затянулся, время подошло к обеду. Пинегин не поехал домой, ходил по кабинету, размышлял, негодовал, недоумевал. Все может случиться: на ровном месте споткнешься, крыша на голову обрушится, в таблице умножения запутаешься. Но этого разговора не могло быть, он был чудовищен, был немыслим. Его нельзя было принять, в него нельзя было поверить. Он, Пинегин, ссорится с Волынским, они начинают меж собою борьбу, сталкивают один другого. Да как это возможно? Как это вынести?

— Чепуха! — прикрикнул на себя Пинегин. — Мало тебе приходилось драться? Чего-чего, а этого хватало! Пришло время подраться с Волынским — только всего! Вынесешь!..

Он почувствовал усталость и присел на диван. Левая нога противно подрагивала, кружилась голова. В груди чувствовалось какое-то стеснение, там торчал ком, сердце вдруг словно выросло, и ему было тесно биться: не хватало воздуха... «Расклеиваюсь! — с неодобрением подумал Пинегин. — Один неприятный разговор — и нате! Надо взять себя в руки!»

Он взял себя в руки. Он больше не думал, что в груди ком и не хватает воздуха. Он думал о Волынском. Но, думая о Волынском, Пинегин снова волновался. Нет, надо понять, кем приходится ему этот человек. Сын, военный инженер, давно уехавший *в* Ленинград, не был так близок ему, сын отпочковался, завел самостоятельную жизнь. А они с Волынским — это же одно существование, одни мысли, одни заботы, один труд.

Полтора десятка лет совместной работы, ни одной размолвки, ни одного столкновения — две руки единого тела! Левая рука поднялась на правую — вот что случилось — чудовищное, немыслимое, непоправимое!

— Да, Игорь Васильевич! — вслух сказал Пинегин. — Да... Вот так они делают, всякие твои Шелопуты...

Ком в груди напомнил о себе, он стал больше. Сердце билось с усилием, оно болело — странная боль, противное глухое жжение разливалось за клеткой ребер. Пинегин торопливо ходил по кабинету, стараясь заглушить боль движением, — стало не лучше, а хуже. Он взглянул на часы — обеденный перерыв давно пропущен, скоро начинать вечерний прием.

Пинегин вызвал машину и зашел к Сланцеву.

— Слушай, — сказал он. — Я, возможно, вечером не приеду, устал. Если что, звони домой.

— Вид у тебя неважный, — согласился Сланцев. — Может, в поликлинику позвонить, чтоб кого прислали?

— Обойдется. У врачей на всякий пустяк один метод — уколы, режимы, диета. Лечение пуще болезни.

Дома он прилег на диван, взял книгу. Только теперь по-настоящему кружилась голова, буквы расплывались. Пинегин с досадой отложил книгу, возвратился к думам. Но мысли шли вяло, он задремал. Проснулся от боли. В груди жгло, в левой руке ломило. «Отлежал руку», — подумал Пинегин и перевернулся на правый бок. Но левая рука, освобожденная от тяжести тела, заболела сильнее. Пинегин угрюмо усмехнулся: «Вот она и приходит, старость — пенсионные года... Скоро будет так — кто словечко тебе, хватай валидол! Ты кому словечко — нитроглицерин! Существование!»

Он устроился поуютнее — на ночь. В комнату вошла сестра, спросила, не нужно ли ему чего. После отъезда сына и его семьи Пинегин со старушкой сестрой жили одни в большой квартире. Сестра вела их несложное хозяйство, ей помогала приходящая домработница. За ужином Пинегин беседовал с сестрой о внуках, увезенных в далекий Ленинград, — Это была единственная тема, которая по-настоящему ее интересовала.

В этот день Пинегин ужинать не пошел.

— Устал, Ваня? — сочувственно сказала сестра. — Взял бы отпуск, поехали бы к внучатам.

— Не до отпуска, — пробормотал Пинегин. — Дел по горло. Ладно, иди, я подремлю.

Ночью он просыпался от боли и недостатка воздуха. Он поднимался, тяжело дышал. Сердце билось неровно: то пускалось в бешеную скачку, то еле плелось. «Расклеиваюсь! — думал Пинегин в полудремоте. — Вовсе расклеиваюсь!»

Утром он встал словно с похмелья. Боля в груди не было, но тошнило и кружилась голова. Пиперин без аппетита позавтракал, задумываясь и забывая о еде. Мысли были похожи на фигуры, бредущие в тумане.

На улице засигналил Василий Степанович.

— В управление? — спросил он, распахивая дверцу перед Пинегиным.

— На промплощадку, — ответил Пинегин, с усилием влезая в машину.

12

Это было испытанное средство, в трудные минуты Пинегин часто прибегал к нему — уезжал из управления на заводы и шахты, бродил по цехам, разговаривал с рабочими и мастерами: новые впечатления отвлекали, становилось легче. Сейчас он поехал в старый плавильный цех, первый из построенных Пинегин и годы воины. Он никому не сообщил о приезде: ему хотелось побродить одному, без предупредительного цеxового начальства.

Пинегин начал с рудного двора. Это был гигантский каменный сарай: шесть бункеров — в каждом из них свободно помещался трехэтажный дом, — мощные грейферные краны над ними. На рудный двор въезжали целые железнодорожные составы, сбрасывая в ямы руду, флюсы и кокс. Пинегин медленно шел по шпалам. Руды и флюсов хватало, это мог определить любой простак, но кокс завод жрал с колес: в бункерах только что было засыпано коксом дно, запас часа на три. Почему-то Пинегину стало легче оттого, что даже беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы увидеть, как трудно с коксом.

— А еще хотят без новой угольной базы! — пробормотал он.

Обойдя бункера, Пинегин вышел к транспортерной галерее, соединявшей рудный двор с плавильным цехом. Две метровые ленты проворачивались на роликах, унося вверх руду, флюсы и кокс. Начало транспортера терялось в пыльном и темном подземелье, конец выносился под крышу цеха. Пинегин медленно шагал по ступенькам. Нужно было подниматься на высоту десятиэтажного дома. Пинегин не раз шутя проделывал этот подъем, сегодня он показался чрезмерно тяжелым. Слабость, па время покинувшая его на воздухе, возвратилась. Пинегин с трудом сгибал ноги. Он прислонился к стене, жадно и шумно дышал. Он вспомнил, что невдалеке проходит подъемник, проще было бы подождать кабины. Ему не хотелось поддаваться усталости, он махнул рукой — ничего, передохну! Чтоб не думать о своем странном состоянии, Пинегин почистил рукавом запыленное стекло окна и стал смотреть сквозь него.

Внизу расстилался обычный заводской мир: железнодорожные пути, линии передач, подстанции, склады, виадуки, клубы белого пара, синий дым, вырывающийся из окон и крыш цехов, газ, выбрасываемый трубами. Ничто не было так мило взгляду Пинегина, как этот мрачный, организованный и вдохновенный пейзаж. Всю свою жизнь Пинегин только и делал, что насаждал в разных углах страны подобные пейзажи, но ни один не был так ему дорог, как этот, ибо ни один так трудно не достался. Пинегин любил его, как любят собственное творение, любил в меру тех усилий, которые пришлось затратить, создавая его, — цена была высока, как и любовь.

Отдохнув, Пинегин выбрался на верхнюю, шихтовую площадку. В сорокаметровой глубине, тускло освещенной лампочками, раскинулся самый большой из плавильных цехов страны, — по одной стороне закованные в медные кессоны шахтные печи, похожие на гигантские органы, по другой — огромные бочки конверторов. Средний конвертор повернули, в подставленный ковш выливали сваренный металл — багровое сияние сумрачно залило цех. В ушах гремел, свистел и звенел сжатый воздух. В нос бил крепкий, как водка, сернистый газ. Перед глазами колебалась пелена золотистой пыли. Когда-то Пинегин хорошо выносил пыль и газ и часами находился там, где другие через три минуты корчились от судорожного чихания. Но сейчас он почувствовал, что задыхается, обожженную газом гортань перехватило, голос пропал. Кашляя, чихая, с трудом волоча ноги, Пинегин торопливо спускался вниз и остановился только на колошниковой площадке. Здесь стояли вентиляционные трубы, нагнетавшие в помещение свежий воздух. Пинегин ухватился рукой за трубу, сипел, втягивая в себя живительную струю. Мимо него проходили рабочие *с* противогазами, на боку и трубками, в зубах, они здоровались, с любопытством посматривали на начальника комбината.

Площадка была проложена вдоль горловин шахтных печей, Пинегин переходил от одной к другой. В завалочных окнах бушевало пыльное лимонно-желтое пламя. Загрузочные вагонетки безостановочно сновали вдоль ночей, выбрасывая в их зев руду, кокс, агломерат и флюсы. Пинегин, прикрывая лицо от жара, всматривался в рвущееся из шахты пламя. Печи шли на высоком режиме, было видно, как опускается, расплавляясь, загружаемая шихта. Пинегин на время забыл об одолевшей его усталости. В истории цветной металлургии еще ни одна печь не работала с такой интенсивностью, как работали эти. Это был предел, достижение целой отрасли техники, — его, Пинегин, достижение!

Долго прогуливаться около печей было трудно. Резкий газ вырывался из окон, проникал сквозь щели кессонов. Пинегин спустился ниже.

Теперь он стоял на главной площадке — фурменной. Здесь было легче дышать, печевые работали без противогазов. На фурменной площадке печи напоминали исполинские органы не только видом, но и звучанием. Сжатый воздух, врываясь сквозь фурмы в недра шахт, пел оглушительную и стройную мелодию. Рабочие, открывая заслонки, прочищали фурмы длинными ломиками — в общий громовый гул вторгались тонкие свистящие, звенящие, поющие голоса. Пинегин любил сложную музыку работающей печи. Уже по одному звучанию, не глядя ни в сменные журналы, ни на льющуюся из лётки струю, он безошибочно узнавал, как идет плавка. Его хмурое лицо все больше прояснялось: печь шла отлично.

Пинегина заметил мастер Фоменко. Невысокий, рыжий, чем-то напоминавший старый пень, он был ветераном среди металлургов — приехал на Север еще до войны, пускал первую печь. Фоменко прокричал Пинегину на ухо:

— Здравствуй, Иван Лукьяныч! Любуешься? Пошли в контору, побеседуем.

В конторке, находившейся тут же, на площадке, между двумя печами, Фоменко сочувственно спросил:

— Ты чего зеленый, Иван Лукьяныч? Нездоров?

— Да нет, вроде здоров, — ответил Пинегин. — Устал немного.

— Ну-ну, бывает. А я гляжу: ты, не ты? Давно не захаживал. Хотел тебя спросить: что-то заговорили — расширяться будем. Верно?

— Да, верно. Цех станет раза в два больше, появятся новые печи.

Фоменко сокрушенно покачал головой:

— И мне так говорили. Ой, нехорошо!

Пинегин с изумлением смотрел на него.

— Нехорошо, Константин Петрович? Чем же нехорошо?

Фоменко с охотой объяснил:

— Всем нехорошо! Неужто не понимаешь? Кто-кто, а ты должен бы разобраться... Ведь это что получается? Сегодня несладко, а завтра вдвойне горше. Сколько человеку на этой проклятой печи мучиться?

Если бы это говорил кто другой, Пинегин бы не удивился. Не каждый работающий в металлургии влюблен в нее, многие только мирятся с ней. Но Фоменко был влюблен в печи, он трясся над ними, в дни ремонта не уходил домой ночевать, тут же и засыпал на площадке. Это ему принадлежали горделивые поговорки, ходившие среди плавильщиков: «Никакая бацилла не терпит нашего газа, оттого и здоровы» и «Газок что водочка — крепок и пользителен». И этот человек клянет свои печи, невероятно!

Пинегин упрекнул Фоменко, тот рассмеялся:

— Так-то оно так, Иван Лукьяныч, любим печь, не без того. Да ведь как любим? Как отец неказистого ребеночка. Мальчонка у него и кривой, и хромой, и горбатый, и характером не удался, а отец жалеет его, деться-то некуда, родительское чувство всякого за грудки схватит. Ну, а если тому же отцу сказать: второго мальчонка можешь наперед заказывать какого хочешь. Как, по-твоему, прикажет он опять горбатого и кривого? Да ни в жизнь! Обязательно красавчика выпросит, это я тебе точно. Вот и цех наш, которого еще нету, — тот же заказанный ребеночек. Выйдет плохой, что поделаешь, полюбим и такого. Ну, а все лучше, если он хороший, статный и удобный каждому. Неверно я говорю?

— Мысль в этом есть, — ответил Пинегин, с любопытством приглядываясь к старому мастеру.

— То-то! Знал, что со мной согласишься. А как же иначе? Сколько лот с тобой знаком, не мог, конечно, поверить, что ты о рабочем позаботишься. В те трудные годы заботился, а сейчас, когда такие возможности, вдруг забывать стал! Ну не ерунда ли, Иван Лукьяныч?

— А что, уже такие слухи пошли, что я о рабочих не забочусь? — недобро спросил Пинегин.

— Мало ли что дураки болтают! — уклончиво ответил Фоменко.

Это был, в конце концов, пустой разговор, шептунов и недоброжелателей всегда хватает, язык им не завяжешь — болтается, бескостный, во все стороны! Но короткая беседа с Фоменко совсем расстроила Пинегина. Сидя в машине, еще более усталый, чем был, когда поехал на завод, Пинегин пытался вызвать панорамы задуманных новых великолепных цехов. Но вместо них упрямо вставало загазованное, пыльное помещение, печей было много, в два раза больше, а люди по-прежнему кашляли, чихали, сновали с противогазами. Мощно рокотала вентиляция, трубы извергали потоки свежего воздуха, а навстречу, отбрасывая и отравляя его, из печей сочился газ, жерла шахт выбрасывали пламя, распыленный кокс вздымался темным облаком. «Нет, трудно! — машинально размышлял Пинегин, не сознавая, о чем думает, как думает. — Трудно будет, очень трудно!» А когда к нему, медленно проясняясь; пришло отчетливое понимание того, что за мысли порождает эта воображаемая картина будущего завода, он изумился: «Какая чепуха, неужели я сам сомневаюсь в своем проекте?» Он три раза, сперва иронически, потом раздраженно, потом с гневом, задал себе этот вопрос — и вдруг понял: да, сомневается! Сомнение подкралось исподтишка, медленно накапливалось где-то под спудом, теперь оно стало перед ним во весь рост. Он, Пинегин, автор варианта реконструкции, признанного официально наилучшим, страстно убеждавший в его достоинствах всех, с кем он соприкасался, поссорившийся из-за этого с Шелепой и Волынским, не верил самому себе.

— Теперь, конечно, в управление? — сказал Василий Степанович, поворачивая машину на главную улицу поселка.

Но Пинегин охватил страх. Его дожидались люди, с ними придется толковать и спорить, отдавать им приказания. Ему сейчас не до людей, ему надо остаться наедине с собой, срочно, немедленно разобраться в своих сомнениях, пресечь их, оборвать, как гнилые путы! Он не имеет права сомневаться, он должен знать, чего хочет, куда стремится! Сомнения и руководство — вещи несовместимые, он понимает это не хуже любого другого. Он разберется, глупости, он разберется!

— Домой! — сказал он.

Василий Степанович, пораженный, обратил к нему лицо. Пинегин отвернулся. Но Василий Степанович, видимо, понял что-то неладное. Затормозив у квартиры, шофер проворно выскочил и помог Пинегину выйти.

— Проводить наверх? — с тревогой спросил он. — Что-то на вас лица нет, Иван Лукьянович!

— Сам доберусь, — ответил Пинегин. Он вслух повторил, усмехнувшись, мысль, неоднократно являвшуюся ему этой ночью: — Расклеиваться начинаю...

13

Он позвонил секретарю, что раньше вечера в управлении не появится, потом выключил все четыре телефона, стоявшие на письменном столе. Он ходил по ковровой дорожке, проложенной от стола к двери, — одиннадцать шагав туда, одиннадцать обратно. Уставая от ходьбы, он присаживался на диван, потом снова вскакивал и возбужденно ходил. Дорожка заглушала его шаги, но сестра услышала их и постучала в дверь.

— Ты чего так рано, Ваня? — спросила она. — Может, чаю тебе?

Он ответил нетерпеливо:

— Ничего не хочу! Извини, Оля, надо мне одному... Если кто придет, скажи, что занят.

Сестра больше не тревожила, можно было размышлять спокойно. Но мысли хаотично метались, одна перебивала другую. Пинегин хотел сразу все решить, одним взмахом обрубить нежданно явившееся сомнение. Скорое решение не давалось, это был спор, а не размышление. Пинегин уставал от бушевания мыслей, как от тяжелой физической работы. Он снова возвращался к беседе с Фоменко. Он негодовал. Его, Пинегина, заподозрили в том, что он забывает о нуждах рабочих! «Да как это возможно? Как смеют даже предполагать такое в нем? Нет, постой! — останавливал он себя. — Разберись логично, в чем тебя обвиняют? Не в том, что ты просто пренебрег интересами рабочих, нет, этого никто, и враг твой, не осмелится сказать. Тебе указывают, что в стране появились новые, неслыханные прежде возможности, а ты их не увидел — так ведь? „Сколько человеку на этой проклятой печи мучиться?“ — вот как понимает его Фоменко. А разве Шелепа понимает по-другому? Формулировка иная, поученей, а суть — та же, одна у них суть, и у Шелепы, и у Волынского, и у Фоменко, так оно поворачивается!»

Теперь Пинегин думал не о Фоменко, а обо всех своих противниках. Нет, как мог он отмахнуться, презрительно отмахнуться от них? Ну, один Шелепа — куда ни шло, человек увлекающийся, уверовал в свой проект, ни о чем другом и слышать не хочет! Допустим, и Фоменко — хочется старику превратить свой дымный цех в райское местечко, желать никому не возбраняется, желай хоть на Венеру лететь, поближе к Солнцу — твое личное дело! Но Волынский! Это же осторожнейший человек, умница, тактик! А ведь он сразу уверовал в проект Шелепы, горой встал за него, не остановился перед разрывом с Пинегиным — так ему дорог этот проект! Думаешь, легко ему это далось? Тебя ошеломило и потрясло противоборство? Нет, не беспринципное критиканство, как тебе показалось вначале, властное требование жизни — вот что объединило их всех. Ты отстал от жизни, тебя поправляли, а ты не понял.

«Но в чем же я отстал, в чем?» — допрашивал себя Пинегин. И ответ на этот нелегкий вопрос пришел ясный, как и вопрос. Все дело в том, что вариант реконструкции был разработан десять лет назад, новых перемен он не отражает. «Но, может, вариант этот в свое время был скачком в будущее? — спорил с собою Пинегин. — Ведь его не могли осуществить, потому что он превышал тогдашние силы, а сейчас новым силам, новым возможностям вполне соответствует? Да, конечно, — ответил себе Пинегин. — Он превышал тогдашние силы, это несомненно. Но только по объему работ, а не по уровню техники. Вот в чем твоя ошибка — завод будущего, а техника сегодняшнего дня. Такое не просто было заметить, нужен острый ум, чтоб проникнуть в это, Шелепа проник, Волынский разобрался, ты — нет... И получается по Фоменко: тех же щей, да погуще влей — старый завод расширяется вдвое, но это тот же старый завод. Количество увеличивается, а качество не меняется».

В дверь осторожно опять постучала сестра.

— Ваня, — сказала она виновато, — тревожатся, что с тобой?.. От Сланцева приходили...

— Ладно, — сказал Пинегин устало, — вызови машину.

— Машина здесь, Ваня. Василий Степанович сидит у меня. Но ты лучше оставайся, позвони им только, чтобы без тебя обошлись. Боятся, не заболел ли...

— Поеду, — решил Пинегин. — Надо же на работу ходить. От других требую, самому пренебрегать негоже...

В дороге ему снова стало хуже. Он постарался не показать своей слабости, поднимался по лестнице ровным шагом, лишь слегка придерживался за перила. Но в кабинете он свалился в кресло и несколько минут сидел, отдыхая. В голове надсадно и гулко гремело. Немного отдохнув, он прошелся по дорожке, собирался вызвать секретаря и приступить к приему. Дверь распахнулась, в кабинет пошел Сланцев.

— Иван Лукьяныч, — сказал он недовольно. — Что это получается? Ты уезжаешь на завод, целый час сидишь там с Фоменко, потом вообще пропадаешь. А срочные бумаги не просмотрены и не подписаны. Может, вместе поглядим?

Пинегин хотел ответить, что он готов хоть сейчас заняться срочными бумагами, но не сумел ничего сказать. Глаза Сланцева страшно округлились, на лице выразился ужас. И по этому неожиданному изменению его лица Пинегин понял, что ему, Пинегину, очень плохо. Непереносимая, рвущая боль внезапно заполнила его грудь, и он, застонав, опустился на диван.

14

Он лежал в больнице в отдельной палате, у постели дежурила сестра. Выслушивания и выстукивания, электрокардиограмма и анализы показывали одно: инфаркт миокарда. Еще там, в кабинете, придя в себя, Пинегин понял, что болезнь серьезная и долгая, скоро встать на ноги не удастся, врачи подтвердили это. Пинегин покорился предписанному ему строжайшему режиму: никакой работы, никаких телефонных звонков, приемов, указаний, лежачее существование, еда и сон. «Старайтесь ни о чем не думать, Иван Лукьянович», — сказал главный врач больницы.

Первые дни после приступа было не до дум. Врачи опасались осложнений. Пинегин, покрытый потом и задыхающийся, метался в постели, стараясь принять какое-то единственное положение, при котором боли стихали. Ему вводили большие дозы морфия, он на время затихал. Потом острый период закончился — без тяжелых явлений, как установили врачи. Болезнь покатилась к выздоровлению. В самый раз было выполнять предписания врачей — покорно, дремотно лежать, ни о чем не думать, терпеливо накапливать растерянные организмом силы. Пинегин, освобожденный от непосредственной борьбы за жизнь, пренебрег запретами врачей. Он не мог не размышлять, даже не старался. Он размышлял.

Он лежал у окна, днем окно раскрывали — шло короткое полярное лето, — то круглые сутки солнце, то обложные, пронзительные дожди. Окно выходило на северо-запад, ночью в палате даже во время дождя было светлее, чем днем. А в безоблачные ночи Пинегин подставлял лицо холодному солнцу, тихонько приподнимался повыше, если удавалось обмануть бдительную сестру. Он наслаждался светом, закрывал глаза и думал.

Это были все те же мысли, все о том же, что и перед приступом. Но только вначале они были еще хаотичней, еще спутанней, чем тогда. Пинегин ослабел, не хватало сил на умственное напряжение: он быстро уставал, терял логическую нить. Каждый день приходилось начинать все сначала, каждая мысль продумывалась по сто раз, он возвращался к ней, оттачивал, опровергал, отбрасывал, опять принимал, пока она не становилась железной и неотвергаемой. Он внес обычный свой строгий порядок и в то единственное, чего не мог подчинить себе придирчивый врачебный контроль, — в свои думы.

Вскоре они превратились в систему развивавшихся одно из другого рассуждений. Пинегин поднимался со ступеньки на ступеньку — в конце подъема лежали практические выводы, их надо было по-настоящему, уже окончательно обосновать. Но было одно важное отличие между этими новыми мыслями, одолевавшими Пинегина, и теми, что истерзали его перед болезнью. Тогда Пинегина потрясло сомнение, он потерял веру в правильность избранного им пути, в точность принятых им решений. Теперь сомнений не было. Все стало ясно: путь, избранный им, неправилен, решения, принятые им, неточны. Правы его противники: он, Пинегин, ошибался. И не об этом он размышлял. Ему было мало признать свою неправоту. Он докапывался до корней. Он требовал от себя ответа на вопрос: как же случилось, что он, Пинегин, отошел от жизни, почему он не сумел разглядеть появившиеся в стране новые возможности — он, до того так чутко улавливавший позывные своего времени?

Отвечая на этот вопрос, Пинегин вспоминал то министра Алексея Семеновича, то Шелепу. «Вся страна будет вас строить!» — пообещал министр. Пинегин проворчал в ответ: «На других надейся, а сам засучивай рукава — вот мой жизненный принцип!» А Шелепе было сказано еще резче: «Взвалить все трудности на чужого дядю не собираюсь сам и другим но советую». И даже посмеялся: насчет-де прогресса в технике брось высокие фразы, техника никогда не идет назад. Вот как он отвечал на предложения, вот какова была его точка зрения, не точка — система взглядов. Теперь он должен проверить, правильна ли она.

Да, конечно, трудности надо мужественно преодолевать, от этого он не отступится. Министр сказал тогда: все знают о тебе, что не ищешь легких заданий. Что же, это правда, он и сейчас таков, гордится похвалой. Но этот свой хороший, умный обычай он довел до геркулесовых столбов, до любования самим собой: глядите, мол, вот как я поступаю, лишь так и надо. Он порою просто запрещал себе искать то, что легче: противоречит-де основному жизненному принципу. А что это значит — мне нелегко? Это значит, нелегко не только мне одному, такое еще можно бы простить, — нет, всем, кто работает со мной, многим тысячам людей, всех он обрекает на трудности, может быть напрасные. Напрасные ли? Если не напрасные, если можно доказать, что они были необходимы, что без них не было бы движения вперед, то прав он, прав, с готовностью подставляя спину любой тяжести, заставляя и других тащить ее! Стало быть, надо выяснить, что было необходимо и неизбежно в этих трудностях. Он будет думать об этом.

Он вспоминает самое трудное время — войну. Как он яростно боролся в эти годы против тех, кто, опуская руки, ждал помощи со стороны! Именно тогда и родилась любимая его поговорка: «К чужому дяде не пойдем, сами сделаем!» У них не хватило серной кислоты, им предложили выделить военные самолеты — возить драгоценную кислоту. Они отказались от самолетов и кислоты, наладили тут же, на месте, ее производство. Кончились смазочные масла — изготовляли свои. Израсходовали бензин — пустили установку синтетического бензина. Не было витаминов, разразилась цинга — собирали хвою и мох, отогнали цингу. В океане погиб фураж, правительство разрешило резать племенной скот — мололи ягель, примешивали к нему для вкуса муку, спасли всех коров до одной. Сколько их, этих случаев? Нет, он не опускал руки при несчастьях, в нем вспыхивала энергия, он с удвоенными силами бросался отбивать сыпавшиеся со всех сторон удары. Он говорил каждому и всем: «Нельзя требовать помощи, если можем обойтись сами; все ресурсы страны брошены на отражение врага, мы должны как можно меньше получать из этих ресурсов, а давать как можно больше!» Вот как он рассуждал тогда. Что же, это было правильное рассуждение. Он добровольно взваливал себе на плечи лишнюю тяжесть, он знал: зато там, на фронте, будет легче, всей стране будет легче оттого, что им, в глуши, стало тяжелее. Ему не в чем себя упрекнуть. Он гордится собой.

Да, но это было давно, в годы войны, в годы восстановления; он был прав тогда, он это доказал. Но прав ли он сейчас? Страна преобразилась, любая задача ей Теперь по плечу. А он? Он тот же, он по-прежнему твердит: «На поклон к чужому дяде не пойду, сам все сделаю!» А кто он, этот чужой дядя? Такой же советский завод. Что зазорного в том, чтоб попросить помощи у своего товарища? Он должен сделать то, чего никто за него не сделает, все то, что вытекает из местных условий. Но что другие сделают скорее и дешевле, пусть делают те, это выгодно всему обществу, не только им на Севере. Это уже не геройство — взваливать на себя необязательную и трудную ношу, просто глупость. Стал бы он сейчас собирать в тундре мох и хвою, чтоб приготовить витамины, — как бы над ним смеялись! Маленький заводик где-нибудь в центре за час изготовит больше витаминов, чем они за год, и эти (витамины будут лучше, на них в сотни раз меньше потратят общественного труда.

Вот это и есть то самое, о чем твердил Шелепа, — не понимает он, Пинегин, полностью сегодняшнего дня, не видит, как высоко скакнули они ввысь. Тут уж никуда не денешься — он живет вчерашним, от нового досадливо отмахивается: ладно, все это знаю, не вижу ничего особенного, каждый год идем вперед, а не назад. Нет, постой, постой, как же это случилось, что он отстал? Когда это случилось? Почему, наконец, это произошло? Да, почему? На это он должен ответить. Беспощадно ответить, беспощадно и исчерпывающе. Тут нельзя ничего пропускан, ничего прикрашивать, правда горька и остра, как хирургический нож, но она, как и нож, отсекает омертвевшее и гнилое — без боли нет излечения. Он не пощадит себя, нет! Он слитком загордился собой. Он верил в себя больше, чем в других. Вот оно, то истинное слово, какого он искал: неверие в других! В нем корень зла. Сколько оно, неверие, отравило дуга, притупило умов, сколько связало рук! На себя надеялся, как на каменную гору, а про соседей думал: нет, они, как он, не сумеют. Так оно страшно поворачивается: в основе его самоуважения лежало неуважение к другим!

Да, конечно, он может сказать в оправдание: это была не его личная ошибка, многие, очень многие болели тем же. Был, был у него этот грех — маленький культ своей собственной маленькой личности. Нет, оправданий ему не нужно. Он хочет понять себя, а не оправдывать!

15

А следам за этим вопросом наступал другой: как же получалось, что он себе и многим, многим другим продолжал казаться чуть ли не образцом передового руководителя, умным, дельным, принципиальным человеком? Не появись этот Шелепа, не обрати Шелепа в свою веру Волынского, не было бы разговора с Фоменко, короче, не свались на него все эти неожиданные удары, и все осталось бы как было, и разрабатывался бы без споров «Вариант Пинегина», и сам он, Пинегин, не терзал себя трудными размышлениями, и все окружающие видели бы в нем прежний непререкаемый авторитет. Нет, это не так, не нужно преувеличивать. Не было бы Шелепы — нашелся бы Иванов или Сидоров, не сегодня бы отшатнулся Волынский от Пинегина — он отшатнется завтра, не получись встречи с Фоменко — произошла бы другая встреча. Зачем припутывать сюда случайности, все это закономерно. И ответ на этот вопрос нужен не случайный, а закономерный.

Пинегин вспомнил о том, как он раскрывал самое сокровенное в «Варианте Пинегина». Нет, как он говорил тогда о возрождении Севера, о преобразовании природы, о благодарности потомков! Что можно было возразить против этого? Отвоевать для культуры обширный, ныне дикий край — великолепно! Заслониться от страшного климата, от пурги, от морозов, от темноты домами, центральным отоплением, лампами дневного света — изумительно! Через тридцать лет выработают рудные месторождения, заводы остановят или снесут, но дикий край, завоеванный для культуры, останется навсегда в фонде человечества, внуки и правнуки скажут спасибо — высоко, высоко, ничего не возразишь! Разве уж не возразишь? Он возражает. Он поднимается на спор с самим собою. Он разобьет себя, если другие этого не сумели. Он спросит себя: нужно ли это все для страны, для советского общества? Какой нелепый вопрос! Конечно, нужно! Кто же станет протестовать против того, чтобы к старым, уже освоенным областям добавить еще одну? Да побольше бы таких приобретений! Нет, нет, не так просто, не торопись! Все дело в том, какую цену заплатить за такое приобретение. Может, цена будет выше товара, может, результат окажется недостоин потраченного на него усилия? Да, нужно было, обязательно нужно было осваивать этот крохотный клочок тундры, на котором он, Пинегин, сейчас прикован к постели болезнью. Выхода иного не было: неразумная природа сложила здесь редчайшие богатства, больше нигде их не возьмешь. Тут но до подсчета затрат, нужно идти и брать. Да, все пока разумно. Нелегко стране, много усилий потрачено народом на освоение дикого участка земли, но разумно! А нужно ли уже сегодня к этому пятачку земли добавить в сотни раз большую область? Можно ли пока обойтись без подобного широкого размаха? Конечно! Об этом говорили и московские эксперты, это в иной форме предлагает и Шелепа. И это выгоднее, ибо меньше затрат, ибо легче, ибо проще. Какие миллиарды денег, дни и ночи труда тысяч людей надо потратить на то, чтоб обеспечить культурную жизнь в здешних невероятно тяжких условиях! Начнут осуществлять его, Пинегина, вариант, даст страна эти средства, оторвет их от себя, а зачем? Они будут забраны у орловцев, у смоленцев, у туляков, у киевлян, у минчан я астраханцев, не лучше ли отдать им? Брошенные в эти северные болота, они, конечно, устроят существование человека, но и только. Но там, на старых землях, средства эти превратят их в сад, сделают радостным существование и труд. Не отказал ли ему здесь государственный разум, не преступил ли он границы необходимого? Придет, придет время и для Имарги, но сегодня не до нее — имеются более настоятельные задачи. И так получилось потому, что ему верят, знают, что интересы государства в целом ему всегда важнее его собственных, местных интересов. Правда, кое-кто пытался раскрыть ому глаза на себя — он боролся против таких, увольнял их, грозил им, близким своим друзьям, враждой и ссорой...

Пинегин задыхался, ему снова становилось плохо. Мысли обессиливали его. Пульс спотыкался, как потерявший силы путник, поднималась температура. Перепуганная медсестра бежала за врачом, врач сидел у постели, вглядывался в измученное лицо Пинегина. Он спрашивал у сестры, как ведет себя больной, не встает ли, не делает ли резких движений. Сестра отвечала: нет, больной лежит недвижно, глаза уставит в одну точку, сжимает губы — похоже, будто все о чем-то думает.

Врач ласково наклонялся над Пинегиным: — Иван Лукьяныч, опять температура скачет. И электрокардиограмма неважная. Что с вами? Возьмите себя в руки. Не надо ни о чем думать, все в комбинате идет хорошо — ради бога, не волнуйте себя!

Он уходил, и Пинегин забывал о его предписаниях. Он не мог взять себя в руки, не мог не думать, не волноваться. Зато у него был ответ на один из мучительнейших вопросов. Оп как бы карабкался на горный перевал, измучился, не стоял на ногах. Но с высоты этого высокого, как горный перевал, нового понимания открывался далекий вид на все стороны.

16

И прежде всего сам он показался себе другим, чем казался до того. Пинегин никогда не останавливался па полдороге. Раз начав дело, он доводил его до конца. Все это обрушилось на него неожиданно — споры и ссоры, сомнение в своем проекте, болезнь, правдивые горькие мысли, — некуда от них было деться, он их продумал до последней точки, ни от одной мысли не отмахнулся. И с таким же бесстрашием он взглянул на себя — новым, придирчивым, критическим взглядом. Пинегин любил себя, но своеобразной любовью. Он был равнодушен к человеку Пинегину как физическому существу, он не думал, какого цвета у него волосы, какой формы нос, что он час назад ел, какой костюм надевает. Пинегин был человек как человек, — ему было не до него! Самовлюбленность была ему глубоко чужда. Он ценил в себе то, что в нем ценили другие, всеобщее уважение к нему заставляло его уважать себя. Это была умная оценка собственной энергии, принципиальности, широты кругозора. Но оказалось, он стал иным, чем привык о себе думать. Пинегин сурово обратился к себе: «Вот когда подошли они, неизбежные пенсионные годы. И предлог имеется отличный — болезнь. Рапорта об отставке не смогут не принять».

Все же вывод этот был ему горек. Он понимал его логичность, даже неизбежность, но не мог смириться. Он забрался на последнюю высоту в молчаливых спорах с собою, воистину это был горный перевал — не хватало воздуха! Пинегин обессилел, от усталости он засыпал во время еды. Ему нужен был последний толчок — в ту или иную сторону, чтобы полететь назад, в дебри обветшавших привычек, или шагнуть вперед, отбросив старье, как хлам. У него не было собственных сил на этот толчок, он покачивался, как па ветру, от каждой новой мысли, не мог ни на что решиться. Мысли были по-прежнему логичны и беспощадны, но это уже были одни мысли, к действиям они не приводили, острия их стирались.

Сестра толковала состояние Пинегина по-своему.

— Больной стал спокойнее и думает меньше, — говорила она врачу. — Все больше спит.

— Спит — это хорошо, — одобрял врач. — Сон — путь к здоровью. Пусть спит.

Первые недели к Пинегину никого не пускали, даже не передавали записок. Медсестра коротко говорила, что нового в мире, на этом обрывались внешние связи. Пинегин знал, что его состояние интересует не только родных, что в кабинете главного врача ежедневно идут длинные разговоры по телефону и что из Москвы поступают запросы и советы. Но он не догадывался, что в часы его сна в палату бесшумно входят родные, Сланцев, Волынский, Вертушин, вглядываются в его лицо, прислушиваются к его дыханию и, обменявшись многозначительными взглядами, так же молчаливо удаляются. Он понятия не имел, что в длинной истории его болезни, копия которой была послана в Москву, подробно записана и его стычка с Шелепой, и нелегкий разговор с Волынским, и даже разговор с Фоменко и высказано предположение, что все эти события, несомненно, сыграли немалую роль в случившемся несчастье. И уж конечно совсем он не мог подозревать, что в то самое время, когда, неподвижно лежа в постели, он ожесточенно боролся с самим собой, недалеко от него врачи и помощники, друзья и противники, собравшись все вместе, пытаются разобраться, о чем он в этот момент размышляет, какие мысли точат его.

Волынский появился в день, когда Пинегину разрешили принимать посетителей.

— Здравствуй, Иван Лукьяныч! — сказал он весело. — Вид у тебя неплохой. Скоро выписываться будешь.

— Вид неплохой, — проворчал Пинегин, — внутренности неважные.

Волынский уселся около постели, в руках у него была пачка газет. Пинегин с жадностью взглянул на них.

— Это у тебя свеженькие? Поверишь, строчки не давали прочитать! Наголодался!

Волынский рассмеялся:

— Не так, чтобы свежие, но тебя заинтересуют. Я их оставлю, Иван Лукьяныч. А пока давай поговорим.

Пинегин за недели болезни смирился с тем, что им командует чужая воля. Он отозвался;

— Ладно, поговорим. Расскажи, как идут дела в комбинате. Нет срывов программы?

Волынский успокоил его. Программа перевыполняется, руды, угля, кокса — всего хватает. Вертушин печет листы проекта как блины.

— А у вас как? — спросил Пинегин. — Я имею в виду тебя с твоим Шелопутом. Получили ответы на запросы?

Волынский замялся. Он знал, что Пинегин обязательно спросит его об этом, но ему не хотелось обсуждать такую острую тему. Он ответил уклончиво:

— Да нет, молчат люди. От одного института, впрочем, пришла отписка, осторожничают товарищи ученые.

— Осторожничают, — повторил Пинегин. — Ученость всегда осторожна: все факторы стараются учесть.

— Как же ты все-таки чувствуешь себя сам? — спросил Волынский. — Что говорят врачи?

Пинегин усмехнулся:

— А ты будто не знаешь, что говорят врачи? Тебе они, во всяком случае, говорят больше, чем мне; может, со мной поделишься?

Волынский посмотрел на часы.

— Мне, Иван Лукьяныч, выделили всего пять минут, надо идти. Вот тебе газеты, тут указ Верховного Совета о твоем награждении. Прими от меня сердечные поздравления, а также от всех товарищей — это не только твоя, наша общая радость, ты, конечно, понимаешь!

Он протянул руку Пинегину, тот, изумленный, откинулся на подушки. За время болезни он забыл о предстоящей награде.

— С чем же вы меня поздравляете? — спросил он, пожимая руку Волынского.

Теперь удивился Волынский:

— Как с чем? С высоким знанием — теперь ты Герой Социалистического Труда! Ну, извини, извини, и рад бы еще, не могу — и так от врача достанется! И потом — дела в горкоме.

Волынский ушел, а Пинегин схватился за газеты: да, точно, Указ Президиума Верховного Совета, награждение но случаю сорокалетия трудовой деятельности и завершения работ по первой очереди комбината, тут же портрет Пинегина — нестарое, умное, волевое лицо, вряд ли он сейчас похож на эту свою фотографию...

Пинегин отложил в сторону газеты, закрыл глаза, задумался. Вот и наступил этот час, самая почетная награда отмечает его жизненный путь — высокая народная оценка его заслуг. Да, заслуги у него в прошлом немалые, он может ими по всей справедливости гордиться. Он оглядывается назад — всякое бывало, и хорошее, и плохое, но в трудных жизненных передрягах он стоял на высоте, многого добился, принес своему народу кое-какую пользу, это надо признать.

А за этими горделивыми мыслями поползли другие — темные, злые, чаще сейчас его посещавшие, обидные мысли о совершенных им ошибках. Люди, говоря о хорошем, поднимают вверх голову, обращают вперед глаза, а он, Пинегин, оборачивается назад — хорошее позади. Нет, не только позади! Будущее в его руках, он создаст его по своему нынешнему разумению, как создавал до сих пор свое заслуженное прошлое.

От волнения Пинегин растрогался. Так, с невысохшими слезами, он и уснул. Дверь палаты осторожно приоткрылась, в комнату вошли врач и Волынский. Пинегин дышал ровно и спокойно, румянец покрыл желтоватую крепкую кожу его лба и щек.

— Я говорил вам, что это известие только порадует его, — шепнул врач Волынскому. — Радость — лучшее лекарство.

— Ну, слава богу, слава богу! — шептал в ответ Волынский. — Черт знает, как я тревожился эти полчаса. Ведь радость — тоже волнение, а сами вы говорите, большое волнение для него опасно.

17

Теперь он сам чувствовал, что выздоравливает. Ему разрешили подниматься с кровати, прогуливаться по больничному коридору, читать газеты. И сразу же, как он встал на ноги после многодневного лежания на спине, переменился весь строй его мыслей. Все то, что недавно так мучило его, словно потускнело и стерлось. Сумбурные, страстные размышления действие свое оказали, время их истекло. Трудный перевал остался позади. Пинегин больше не оборачивался на прошлое, но вглядывался в будущее. Он снова был прежним Пинегиным — целеустремленным, дельным, категорическим, — прежним и вместе иным. Он знал, что иной. Он не был бы спокоен, если бы думал, что все осталось как было. Отныне будет по-новому, он понимал это.

Мысли его были определенны и ясны, планы четки. Прежде всего нужно разделаться с тем, что названо «Вариантом Пинегин», разработать новый, лучший вариант. К этому делу привлечь Шелепу, Вертушина, местных металлургов, столичных экспертов, комиссии Госплана, технические советы совнархозов — и не медлить, гнать, нажимать, времени остается в обрез! Но и до этого, еще срочнее, выяснить, чем может помочь им промышленность Центра, что она возьмет на себя. Это была не только срочная, но и трудная задача. Пинегин знал, что Волынский с Шелепой совершили ошибку; не так нужно было браться, как они взялись. Он вспомнил уклончивый ответ Волынского: «Осторожничают товарищи: ученые!» А как бы ты хотел, дорогой Игорь Васильевич? Чтоб от радости тебе на шею вешались? Нам, мол, своих забот по уши, вы еще одну добавили, да не легонькую, спасибо там за это! Вроде не так люди держатся, ученый народ тоже из людей. Пинегин не сомневался, что запрошенные институты, проектные организации и заводы постараются отделаться малозначащими обещаниями или просто откажут, ссылаясь на перегруженность. Нет, размышлял Пинегин, возможности, конечно, изменились, огромные возможности, только все мы учили, что возможность сама по себе еще ничто, ее надо превратить в действительность, а это штука хитрая! Он усмехнулся, покачав головой, — умный человек Игорь Васильевич, а таких простых вещей не понимает.

И чем дальше углублялся Пинегин в эти новые мысли, тем яснее становилось ему: труднее всего добиться именно того, что и Шелепе и Волынскому представлялось самым простым и легким. Удастся сделать этот первый шаг, удастся получить согласие на разработку и изготовление новых машин, остальное пойдет, а не пойдет, подогнать можно, способы есть! В правительственных решениях не пишут: «Никем еще не созданные машины сотворить к исходу такого-то квартала» — дело тонкое, эксперимент может удаться, а может — лет. Но указать, что делать в первую очередь, что во вторую, откуда поступят ресурсы и какие, — это уже можно провести через правительство, тут он, Пинегин, постарается.

— К Алексею Семеновичу обратиться, — говорил себе вслух Пинегин, этим выводом неизменно кончалось возобновлявшееся каждый день рассуждение. — Только к Алексею Семеновичу.

Из газет Пинегин знал, что бывший министр возглавил крупный совнархоз, в ведении которого находились машиностроительные заводы, исследовательские и проектные организации. Если кто в Союзе и мог с успехом создать новые металлургические агрегаты, то, конечно, Алексей Семеныч со своими учеными и инженерами.

В один из дней Пинегин потребовал от врача бумагу и ручку — написать деловое письмо. Врач запротестовал. Пинегин спокойно возразил:

— Ходить мне вы разрешили. Почему ходить можно, а писать нельзя?

— Вам вредно умственное переутомление, — разъяснил врач.

— Тогда скорее давайте бумагу. — Пинегин усмехнулся. — Я напишу и перестану думать об этом, а так — все дни умственно переутомляюсь.

Бумагу ему дали. Пинегин упомянул, что пишет в больнице — было, мол, неважно, стало лучше, — и сразу перешел к делу. «Ты сам говорил, — писал он председателю совнархоза, — что я не люблю перекладывать трудные задания на плечи других. На старости лет приходится с сокрушением отказываться от этого принципа. Хочу оставить себе полегче, а тяжелое взвалить другим на горб. И знаешь кому? Тебе!» Пинегин на этом месте долго передыхал, даже прилег на кровать, закрыл глаза. Но сделал это не от огорчения — он улыбался. Он воображал, как удивится бывший министр, получив его письмо. Нет, выйдет неплохо, одна эта мысль — приходится отказываться от почетного трудного, брать себе задание полегче — покажет Алексею Семеновичу, что дело, точно, важное, тут нельзя отписываться. А это — начало, дальше пойдет покрепче!

Пинегин снова присел к столу, писал дальше: «И, конечно, ты лучше всех знаешь, что для меня означал „Вариант Пинегина“. Не буду повторять, как ждал его утверждения, сколько связывал с ним, сколько вложил в него. Важно не это, важно другое — сейчас, после тщательного рассмотрения, вижу, что надо от „Варианта Пинегина“ отказаться, несвоевременен и несовершенен он, можно сейчас найти более удачные и дешевые, совсем новые решения. И вот от тебя, Алексей Семеныч, от твоего совнархоза зависит, сумеем ли мы осуществить эти более удачные решения взамен невыгодного „Варианта Пинегина“. Действую по старой нашей с тобой привычке — до того, как официально вносить в правительство вопрос о перемене варианта, хочу неофициально проконсультироваться с тобою, выяснить, в каком объеме и как скоро вы сможете нам помочь. Знаю, что ты отнесешься к моему письму со всей ответственностыо, иного от тебя не жду!»

— Ну, преамбула готова, так, кажется, это называется? — довольно пробормотал Пинегин. — Теперь перейдем к конкретным вопросам.

Запечатав письмо и надписав адрес, Пинегин возвратился в постель. После долгой отвычки от работы за столом он ощущал усталость. Усталость была легка и радостна. Пинегин вспоминал удачные выражения письма, старался представить, как их будет читать Алексей Семеныч. Тот, конечно, взволнуется и удивится. Ничего, тем серьезнее он отнесется к просьбе. Начнутся споры, придется ниспровергать утвержденный «Вариант Пинегина» с такой же энергией, с какой еще недавно Пинегин его отстаивал. Важно, чтоб Алексей Семеныч поддержал его в предстоящих дискуссиях. Он поддержит! Одно Пинегин знал твердо и определенно: еще никогда в жизни он по бросал с такой решительностью на чашу спора весь свой накопленный громадный авторитет, не нажимал так всей его тяжестью — и против себя, не против другого! «Алексей Семеныч поймет! — размышлял Пинегин. — Не может не понять!»

18

Волынский с Шелепой просматривали очередной ответ на свои запросы — на этот раз от машиностроительного завода. Завод соглашался, что требуемые агрегаты могут быть изготовлены, достигнутый уровень техники позволяет браться за подобные сложные задания. Но сами они, завод, не сумеют поднять это дело: их конструкторское бюро малочисленно и перегружено, нужно предварительно переделать станочные линии, расширить цеха — в общем, самим реконструироваться...

Шелепа раздраженно стукнул ладонью по столу.

— Нет, какая косность! Вы понимаете, Игорь Васильевич, это спихотехника — не желают влезать в трудное дело. И ведь если их официально запросят сверху, они по этой формуле отбрешутся, столько предварительных условий нагромоздят, что рукой махнешь! Волынский задумчиво отозвался:

— В этом все дело. Когда чего-нибудь не хочешь, всегда докажешь, что не можешь.

Он сидел усталый и подавленный. Шелепа испытующе посмотрел на него. Волынский за последние дни осунулся, постарел. Шелепа запальчиво крикнул:

— Ну, это еще бабушка надвое сказала — докажешь! Против доказательств найдутся опровержения. Я не собираюсь складывать ручки на животе.

— Что же вы предлагаете, Олег Алексеевич?

Шелепа в волнении забегал по кабинету.

— А именно это самое — бороться дальше! Писать в Госплан, в ЦК жалобу на институты, на заводы, требовать, чтобы мозгам всех этих неповоротливых товарищей придали живости, хотя бы палкой по известному месту... Поверьте, сразу все пойдет по-другому — и конструкторские бюро окажутся работоспособными и станочные линии не понадобится перестраивать!

Волынский покачал головой.

— Боюсь, вы неправильно представляете себе общее положение.

Шелепа прервал свой бег.

— Это как же неправильно? Если неправильно, так разъясните.

Волынский спокойно разъяснил:

— У вас перед глазами одна трудность — убедить директоров заводов, что они могут изготовить требуемое оборудование. Но что толку их убеждать? Они лучше нас знают свои возможности. Они просто не хотят добровольно взваливать себе на плечи дополнительную тяжелую ношу.

Шелепа нетерпеливо прервал его: — Это самое я и говорю, против чего вы возражаете? Не хотят добровольно — надо заставить! Госплан сумеет...

— Да, Госплан сумеет, — согласился Волынский. — Но Госплан пока не хочет. Вы забываете, что официально принят «Вариант Пинегина» и что сам Пинегин будет отстаивать его со всей твердостью. Конечно, если бы мы с вами сумели написать: «Наше предложение легко осуществимо, заводы-поставщики гарантируют быстрое изготовление новых печей», — тогда другое делю, к нам бы прислушались. Но этого нет. Заводы отвергают наши заказы, правительство утвердило «Вариант Пинегина», при любом споре раньше всего запросят его мнение, а что он ответит — нам хорошо известно...

Шелепа плюхнулся на диван и мрачно уставился на носки своих ботинок.

— Действительно, чертовски запутанное положение...

— Мы, видимо, совершили с вами ошибку, — продолжал Волынский. — Нужно было за дело взяться как-то по-другому, а вот как?..

— Именно, как?

— Не знаю. Каждый день об этом думаю.

— И вас это расстраивает? Должен сказать, вы здорово изменились — похудели, помрачнели... Все от это го, от этих дурацких писем?

Волынский грустно улыбнулся:

— Не совсем. Могу сказать, что больше всего меня огорчает, только не уверен, поймете ли вы.

Шелепа пожал плечами.

— Вы все же попробуйте. Может, и разберусь.

— Я не раскаиваюсь, что начал борьбу против Пинегина, — продолжал Волынский. — Я поверил в ваше предложение, да и сейчас, после всех ответов, считаю, что оно лучше. Это дело принципиальное, борьба стала неизбежной. Другое мне неприятно. Перед его заболеванием была у нас беседа, я о ней говорил вам. Он предсказал тогда, что наши предложения отвергнут и что мне придется идти к нему извиняться. Я вижу теперь, что не надо было допускать этого разговора, ни в коем случае не надо.

— Но почему? Честное выяснение позиций обязательно во всяком принципиальном споре.

— Я говорил, что вы не поймете, — возразил Волынский, улыбнувшись той же грустной улыбкой. — Спора-то ведь еще не было, настоящий спор мы собирались начать после ответов на запросы. Зачем же мне понадобилось заранее так огорчать старика? Не случись этого разговора, который ничего не мог изменить и не изменил, может, и припадка бы не произошло — вот что меня гложет. Его это ведь потрясло — что я, еще не имея твердых данных, открыто, непримиримо пошел против него. Больно ему было, ужасно больно... Какая-то вина в его инфаркте лежит и на мне, понимаете?

После недолгого молчания Шелепа сумрачно проговорил:

— По-человечески вас понимаю. Но извиняться, мне кажется, рано.

19

Это был торжественный день — выход в мир после долгой болезни. Пинегин поехал домой, там ждали товарищи — Сланцев, Волынский, Вертушин и другие. Ему пожимали руки, поздравляли с выздоровлением и наградой, шумно смеялись. Пинегин заметил, что никто не говорил о делах, хоть и ему этого хотелось и всем хотелось, — очевидно, еще действовали какие-то врачебные ограничения. Не прошло и часу, как все разом стали прощаться. Пинегин рассердился:

— Какие черти вас гонят? Ну хоть кто-нибудь останься! Умираю же от скуки! Век вас не видел!

Ему, перебивая один другого, разъяснили:

— Нельзя, Иван Лукьяныч, нельзя: срочные дела. Теперь уж не умираешь, раз из такой трясины выкарабкался, дудки! С завтрашнего дня опять каждый день будешь нас видеть — еще надоедим!

Волынский, прощаясь, сказал:

— Значит, вечером в театре. Между прочим, хотел предупредить — докладывать о твоем жизненном пути будет Шелепа.

Пинегин нахмурился.

— Другого не могли подобрать? Я думал, ты сам доложишь...

— Не сердись заранее, — посоветовал Волынский. — По-моему, доклад будет хорош.

— По-твоему, по-твоему! — проворчал Пинегин. — По-твоему — не по-моему. Бабушка моя говорила в таких случаях: что русскому здорово, то немцу — смерть!

Ворчал он больше для формы, чем от души. Кто бы ни докладывал о нем, плохого он на таком торжественном заседании ничего не окажет. Да и к самому Шелепе отношение Пинегина было иное, чем еще недавно.

Когда Пинегин появился в зале, его встретили аплодисментами, криками с мест. Театр был полон, даже у стен стояли в два ряда. Пинегин всматривался в собравшихся, улыбался старым соратникам, удивлялся про себя: как все-таки много молодежи, чуть ли не половина незнакомых, а раньше, еще так недавно, встречая на улице незнакомого, он останавливался и глядел вслед. «И тут, брат, не поспеваешь за жизнью!» — весело упрекнул он себя. Потом в зале потушили свет, и лица стерлись, только две тысячи глаз дружественно поблескивали на него из сумрака. Пинегин повернулся к трибуне — на нее поднялся Шелепа.

Шелепа разложил бумаги, торопливо перелистал их. Пинегин не удержался: «Докладчик! По шпаргалке пойдет!» Шелепа и вправду начал по записи, привел все анкетные данные Пинегина («Когда родился, когда крестили, одного — когда умру — не сообщает», — проворчал Пинегин сидевшему рядом Вертушину, тот пожал плечами и задышал еще шумнее), рассказал об учении, о боевых подвигах в гражданскую войну («Никаких подвигов не было, дрался как все — только!» — непримиримо сказал вслух Пинегин, на этот раз сам Волынский, сидевший в председателях, скосил на него глаза и покачал головой). Минут десять длилось это перечисление фактов и дат. Пинегин не терпел официально-скучных докладов, тут же о нем самом читали так, что мухи мерли на лету. Если бы не приподнятая торжественность собрания, он прервал бы докладчика или потихоньку убрался из президиума. Пинегин заскучал и перестал слушать. Он поднял голову и стал считать лампочки, висевшие гирляндой над сценой, — вышло всего пятьдесят, но, видимо, получилась ошибка, на взгляд было больше. Пинегин начал счет сначала.

И вдруг Пинегин встрепенулся. Шелепа заговорил о первой пятилетке, о первой стройке Пинегина, заводе, созданном в вековых лесах Среднего Урала. Много Пинегин возвел заводов на своем веку, каждая новая стройка была и важнее и крупнее прежних, но эта была особая — начало индустриальных пятилеток, начало его, Пинегина, деятельности, память о ней была свежа, как память о первой любви. Больнее всего было бы Пинегину, если бы об этой дорогой ему начальной поре заговорили теми же сухими, черствыми, равнодушными словами. В раздражении он повернулся к Шелепе. Он был поражен. Шелепа бросил свои бумажки, вышел из-за трибуны прямо на сцену, размахивал руками, даже голос его стал другим — задушевным, простым, без официальной сухости. И говорил он не о Пинегине — о себе, о своих товарищах. «Мы были тогда школьниками, сопляками. Каждое утро мы хватались за газеты, жадно пробегали боевые сводки индустриализации — столько-то за прошедшие сутки выпущено тракторов, автомобилей, комбайном, паровозов, чугуна, меди. И мы спорили, кто идет впереди — Пудалов, Завенягин, Пинегин? Мы мечтали: вот бы нам туда, к далекому Пинегину, в его дремучие леса, на его кипучую стройку. Мы вглядывались в его газетные портреты, радостно кричали: „А знаете, он здорово удался, точно такой, как в жизни!“ — хоть никто из нас не видел его живого!»

Пинегин потихоньку отвернулся от Шелепы, опустил голову, чтоб не смотреть ни на него, ни в зал. Все, казалось, знал Пинегин об этой первой своей стройке, уже не думал, что можно что-нибудь ему открыть в ней незнакомое, а вот, получается, не все знал — пришлось на старости лет услышать еще неслыханное и, может, самое приятное. Пинегин растрогался и ужаснулся — слезы горячим комом подступили к горлу, черт возьми, так и недолго при всех расхныкаться! Он незаметно высморкался, сердито прикрикнул на себя мысленно — стало легче.

А Шелепа говорил уже о второй стройке Пинегина. Нет, этому человеку не нужно было рыться в бумагах, он, похоже, и смотрел-то в них раньше, чтоб поскорее отделаться от официальной анкетной скукоты и перейти к главному. А главное звенело страстью в его голосе, перебивалось жаркими цифрами, вырастало яркими фактами, картинами, мыслями. Пинегин забылся. Ему казалось уже, что говорят не о нем — о другом человеке, хозяйственнике, политике, щедрой и строгой душе. Пинегин покачивал головой, удивлялся: до чего же нелегко приходилось этому человеку, но как же много он делал, вся жизнь его была непрерывный, упрямый, плодотворный труд!

И снова он очнулся, снова услышал свою фамилию. Голос Шелепы стал торжественным и скорбным. Сорок первый год простер сумрачные крылья над залом. Армия отступала, целые промышленные районы попадали под власть неприятеля, знаменитые заводы, те самые, о которых пели строки довоенных хозяйственных сводок, лежали в развалинах, ежедневно поминались во фронтовых сводках. Пинегин берет в свои руки новую крупнейшую стройку, одну из важнейших строек военного времени. Нет, нельзя, неправильно сказать, что, не будь этого громадного, руководимого им комбината, война была бы проиграна. Но продукция заводов комбината лилась непрерывным потоком на другие военные заводы, она была необходима, как воздух, как сталь, много-много было бы труднее, если бы не хлынул этот щедрый стремительный поток или внезапно иссяк. И еще надо сказать: Пинегин оказался на месте на своем последнем высоком посту, это было большое счастье для страны, что нашелся такой Пинегин, сотни и тысячи таких, как он!

Гром аплодисментов прорвал Шелепу, а он, взволнованный, все продолжал говорить, не слыша самого себя. Потом он подошел к Пинегину, протянул ему от имени зала руку. И опять все потонуло в восторженном грохоте ладоней, криках и топоте ног. Зал хлынул на сцену. Пинегин не успевал поворачиваться, целоваться, жать руки. Был момент, когда слезы все же полились по его щекам, и он сердито отмахивался от тех, кто, ловя его руки, не давал вытереть их. Он умоляюще кивнул головой Волынскому — наведи порядок! Но Волынский хохотал, бил в ладоши, он был доволен беспорядком.

А через полчаса, в антракте перед концертом, Пинегин задержал в коридоре прогуливавшегося Шелепу. Пинегин уже успокоился и говорил по-обычному ворчливо и хмуро.

— Вы докладывали о военной истории нашего комбината и годах восстановления, — обратился Пинегин к Шелепе подчеркнуто на «вы», хотя неизменно всем говорил «ты». — Почему ничего не оказали о реконструкции? Ведь для комбината это очень важное событие.

Шелепа тоже казался другим, чем был на сцене, он ответил сухо:

— По-моему, вас награждают за прошлую деятельность. Я и говорил о прошлой деятельности.

Пинегин долго смотрел на него.

— Значит, вы считаете, что никаких заслуг по части реконструкции комбината у меня не имеется?

Шелепа вспыхнул и, раздраженно отворачиваясь, ответил дерзко:

— Реконструкция еще не развернулась. А насчет будущих заслуг у меня особое мнение, вы его знаете.

Он хотел еще кое-что добавить, не менее резкое, но, смущенный, замолчал. Лицо Пинегина осветилось лукавой улыбкой, Шелепе показалось даже, что начальник комбината не то издевательски прищуривается, не то весело подмаргивает. Пинегин дружески положил руку на плечо потрясенного Шелепы и перешел на «ты»:

— Зайди ко мне завтра, Олег Алексеевич. Утречком, часов в одиннадцать.

20

Пинегин прибыл в управление в обычное свое время, к десяти, как будто и не было этого двухмесячного перерыва. И в приемной его толкались уже обычные утренние посетители — вызванные диспетчером руководители цехов, снабженцы предприятий, плановики. Пинегин, усмехаясь, покачал головой: «Сланцев, вот чудак, специально подчеркивает, что ничего не изменилось, все, мол, в порядке — всех, кого вызвал на сегодня, направил ко мне!» Но, видимо, чувства посетителей не укладывались в расписание Сланцева. Пинегин поздоровался, ему ответили не обычным вежливым «здравствуйте», а шумными восклицаниями. Посетители вскочили со стульев и дивана, проталкивались поближе, протягивали руки. Потеряв несколько минут на приветствия и короткие ответы, на короткие, как выстрел, вопросы, сыпавшиеся со всех сторон: «Ну как? Ну что? Значит, все? Порядок, Иван Лукьяныч? Вступаешь в командование? Ждать, что ли? Сам вызовешь?», Пинегин сказал грубовато и дружески:

— Сегодня, извините, не до вас, мозги растрепаны, надо собрать их в кучу. Дня три буду влезать в дела.

Пока прошу к Сланцеву.

Посетители повалили из приемной, а Пинегин прошел к себе.

Тут аккуратный Сланцев тоже постарался. Все стояло точно на тех местах, как было в день сердечного приступа. А на столе, справа, как любил Пинегин, лежали папки со срочными бумагами. Пинегин перелистал их и передал секретарю.

— Сланцеву. Сообщи, что жду его к двенадцати, после утреннего приема. Пусть папочки эти прихватит с собою, если сочтет нужным.

— Еще одно письмо пришло на ваше имя, — сказал секретарь. — Тоже Сланцеву?

— Всю корреспонденцию пока ему. А что за письмо?

— От Алексея Семеновича, министра, — почтительно, тоже по-прежнему сказал секретарь, хотя уже давно не было ни промышленных министерств, ни министров.

— Это мне, — распорядился Пинегин. — И немедленно!

Письмо было большое, на трех страницах. И уже первые слова показывали, что все понял Алексей Семеныч, во всем быстро разобрался, как и ожидал от него Пинегин. «О несчастье с тобой слышали, — писал бывший министр, — знаем, что выздоровление идет хорошо. Ну, и догадываюсь обо всех обстоятельствах, которые „помогли“ — в смысле „напортили“. Одно могу сказать: сразу после твоего запроса поднял на дыбы всю свою ученую и инженерную братию, три совещания уже провел, на той неделе выезжаю на завод — там проведем четвертое. Народ там знаешь какой — никто добровольно не брал на себя новую тяжкую обузу, ну, я эти перестраховочные настроения мигом оборвал. Задание было им дано такое: выяснить технические возможности в смысле типов, габаритов, мощностей, сроков, а остальное, мол, уже не ваше дело. После такого разъяснения дело пошло быстро». Дальше в письме шли технические подробности, замечания специалистов, ставились конкретные вопросы, на которые нужно было ответить. Конец письма Пинегин перечитал дважды. «Таким образом, получается, — писал Алексей Семеныч, — что, пока ты выведешь стены и фундаменты, первые печи со всей своей автоматикой поспеют. Задержки за нами не получится, можешь не беспокоиться. На всякий случай, не дожидаясь правительственного решения, я своей властью засадил одну группку за предварительные расчеты и эскизную прикидку. Делаю это в полной уверенности, что решение не задержится, иначе нагоняя не избежать. Думаю, надо тебе срочно выезжать в Москву со всеми материалами, которые уже имеются, пусть и меня вызывают, вдвоем мы быстрее все провернем. А тебе желаю полного выздоровления, и оставайся, какой есть. Честно говорю: ни одно твое донесение и отчет так не порадовали меня в прошлом, как порадовало это письмо! О таких, как мы с тобою, часто болтовню разводят, что к новым идеям глухи становимся, живем одним прошлым. Нет, еще стоят наши старые дубы, еще не с одной бурей поборемся! Прости за сантименты, сам помолодел, увидя твой молодой задор, хотя и знаю, как нелегко он тебе достался. Ну, а что серьезное нам доставалось легко?»

Пинегин положил письмо на стол, посидел, снова взял его в руки и опять, не читая, положил. Быстро, прежним своим упругим шагом он подошел к двери и распахнул ее.

В приемной прохаживался Шелепа. Секретарь, удивленный, что не было звонка, вскочил из-за стола, Пинегин знаком остановил его.

Он глядел на настороженного, замкнутого Шелепу. Ну и характерец, черт тебя подери, заинтересован же, дьявольски заинтересован — нет, глазом не моргнет, ничем не показывает, что еле стоит от нетерпения. Ладно, всей выдержки твоей на две минуты, не больше. Вскочишь, станешь жадно допрашивать, по три раза перечитывать каждую строку — знаю, знаю твою проклятую породу, сам такой!

Пинегину захотелось по-мальчишески громко, на все управление, захохотать. Он не разрешил себе улыбнуться.

— Входи, Олег Алексеевич! — сказал он строго.